

101-й КИЛОМЕТР, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Вальдемар ВЕБЕР

Вальдемар ВЕБЕР

# 101-й КИЛОМЕТР, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Р а с с к а з ы



Вальдемар ВЕБЕР

# 101 КИЛОМЕТР, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Р а с с к а з ы

Алетейя, Санкт-Петербург  
Verlag an der Wertach, Augsburg  
2015

Вальдемар Вебер

## **101 километр, далее везде. Рассказы**

© Издательство «Алетейя», 2015

© Verlag an der Wertach, 2015

3. Auflage

Nordendorfer Weg 20, D-86154 Augsburg

Tel.: 0821-4190431; 0821-4190433

e-mail: waldemar.tatjana@t-online.de

Проза поэта и переводчика Вальдемара Вебера автобиографична. Большинство рассказов в книге, расположенных в хронологическом порядке, при всей их независимости друг от друга связаны внутренней темой. Родившийся в семье российских немцев автор вырос в небольшом владимирском городке Карабаново на 101 километре от Москвы. Книга повествует о его обитателях и атмосфере первых послевоенных десятилетий, а также о детстве и юности автора и судьбе его семьи.

В оформлении обложки использована фотография Грега Колема (Greg Colem)

Druck und Binden: BALTO Print, LT

Издательство «Алетейя» ISBN: 978-5-906792-68-6

Verlag an der Wertach ISBN: 978-3-9811039-9-1

**Часть I**

**НАШИ ЗАБОРЫ**



## Сто первый километр

Я рос в маленьком среднерусском городке, невзрачном, как пыльный камень у обочины. Начинался он с деревянной, выкрашенной темным суриком железнодорожной станции. За крохотным окошечком маячило сонное лицо кассирши. Время от времени на перроне появлялся с флажком начальник станции, угрюмо дожидаясь отхода поезда и, зевая, вновь удалялся.

До Москвы отсюда 101 километр. Те, кого в Москву после лагерей и тюрем не пускали, поселялись у нас. Сожительство благных и политических, типичное для сталинского лагеря, было характерной особенностью нашего городка. Здесь оседали и надзиратели, вышедшие в отставку или на пенсию.

Главная достопримечательность — предприятие, выработывавшее ситец. За ним речка Серая, от стоков красильни синечернильная. Мой отец, инженер и преподаватель ФЗУ, выполнял и перевыполнял план, осенью ездил с рабочими в деревню помогать колхозникам убирать картошку, мама учила в вечерней школе немецкому языку ткачей и ткачих, засыпавших на уроках от усталости. Вся жизнь городка настолько была связана с фабрикой, что казалось, не она, а он расположен на ее территории. Три фабричные трубы коптили день и ночь, но их никто не замечал.

Был в городе большой памятник Ленину и поменьше Сталину, и много других гипсовых памятников, стоявших на клумбах.

В начале лета устраивались массовые гуляния, завершавшиеся футболом, пьяным весельем и мордобитием. Со стадиона толпа возвращалась мимо руин разрушенной церкви и тысячекратно мочилась на остатки собора и разбитые надгробья.

У меня в школе был товарищ, сын городского художника. В обязанности его отца входило рисовать по праздникам портреты вождей. К каждому празднику новые. Моделью служили фотографии из «Огонька». Рисовал он их по клеточкам на холсте.

Я часто бывал у товарища дома. На одной стене висел портрет мамы мальчика, на противоположной — плакат с портретами

членов Политбюро. В углу избы икона с лампадой. «Маму папа тоже по клеточкам рисовал? — спросил я. — Не, маму он так рисовал. Маму не по клеточкам можно, вождей нельзя. Вдруг выйдет непохоже!» Он говорил наставительно, как старичок, и при этом сильно окал. — «Мама простит, правительство никогда. Посодют». Бабушка товарища, лежавшая на печи, перекрестилась.

Когда бабушка решила помирать, позвали священника из соседнего Александрова. Прибывший поп с порога перекрестился вначале на портреты членов Политбюро, потом на икону.

От нашего дома начинались три улицы. Одна вела к фабрике. Вторая к стадиону. Третья на кладбище. Улица 3-го Интернационала. Улица Горького. Улица Победы. Кроме них, в городе было много других улиц, носивших имена революционеров, ученых, поэтов, детей-героев. Они уходили в лес, в заглохшие парки, в овраги, упирались в монументы,obelisks, заползали в подворотни, терялись в песке...

## Наши заборы

Заборы — главная декорация моего детства. В нашем городке они были такой же частью пейзажа, как небо, река, бурьян и крапива. Несколько газонов в центре города выглядели нелепыми чужаками. К тому же на них стояли таблички «по газонам не ходить», и это действовало, как «осторожно, злая собака!»

У нас были наши заборы. Все как один кривые и удивительно долговечные. Ходить по нашему городу означало перелезть через или пролезть сквозь. Не то чтобы у нас не было улиц, но они так бестолково были проложены, вели неизвестно куда и зачем, что ими редко пользовались. Так, прежде чем оказаться во дворе школы, надо пролезть сквозь пять заборных дыр, обогнуть пять огородов, пересечь два пустыря и, наконец, перемахнуть через школьную ограду.

На улицы я попадал редко. По улицам ездили, носили знамена или гробы. Порой даже казалось, что будь лазы в заборах пошире, то и некоторые похоронные процессии направлялись бы сквозь них. Дабы выказать почтение почившим, избегавшим улиц.

Сотни тропинок петляли по заброшенным садам, вдоль темных прудов, затянутых плотной ряской, спускались на дно оврагов, взбирались на горки, с высоты которых открывались виды с церквями без крестов и остатками усадеб.

Здесь, за заборами, обитали спекулянты, картежники, пьяницы, инвалиды — все те, кому на улицах появляться не следовало. Здесь устраивали смертельные драки, проигрывали в карты людей, здесь бывшие солдаты нам, подросткам, рассказывали с подробностями о своих победах над немками и полячками.

Мы натыкались на мечтательных девушек с книгой в руке, на одиноких стариков, на семейные пикники, на голые парочки, на птицеловов, на всякого рода чудаков и доморощенных философов. Здесь можно было приобрести вещи, которых не достать в магазинах, починить обувь или велосипед, купить самогонки.



Здесь же за заборами проживали удивительные старухи, носившие строгие высокие прически и двигавшиеся с прямой осанкой. Из окон их жилищ в запущенные сады лились звуки фортепьяно. Они звали к себе, поили чаем из маленьких изящных чашек, угождали слуху французской речью, называли нас по имени-отчеству, делились воспоминаниями. В их комнатах мы находили неведомые предметы: пестрые вееры, маленькие бинокли, трости, статуэтки, изящные перламутровые шкатулки, причудливой формы пудреницы и флаконы. Со стен смотрели портреты мужчин, но спрашивать о них мы не решались...

Окончив школу, я уехал из моего города и десятилетиями туда не возвращался. «Заборный» метод познания действительности я сохранил на всю жизнь. В городах, где я жил, мне больше были знакомы тупики и переулки, чем центральные площади и магистрали. Попадая на главную улицу, старался как можно быстрее свернуть в переулок. И если я изменял своему принципу, со мной случались нелепые и неприятные истории.

Перенеслось это и на восприятие отдельных личностей и явлений. Меньше всего меня интересует прямая жизни, гораздо интереснее ее кривая, в книгах и в разговорах — гораздо занимательнее отступления. Я прощаю людям, когда они обрывают фразу, полагая, что и так все ясно, когда отвлекаются на частности. Мне всегда хочется остановиться в самом напряженном месте детектива, узнать о герое что-нибудь второстепенное, необязательное. А так как это противоречит законам жанра, детективов я не читаю.

## Если бы не Батюшков...

Таких фабричных городков и поселков, как наше Карабаново, по России разбросано несметно, и если в былые времена о каком-нибудь из них было известно что-то особенное, например, что разводят в нем неподражаемые огурчики и поставляют их даже на царский стол, то к периоду нашего в нем проживания огурчики куда-то уже подевались и никто не мог сказать, чем один город или поселок отличается от другого. В одном производили сатин, в другом ситец. А с такого-то года в первом ситец, а во втором сатин.

Ну а что до ситца-то было, до огурчиков? Рыться в местной библиотеке не имело смысла, спрашивать местных жителей, и тем более учителей, тоже. Для большинства история города началась 1 мая 1923 года, когда собрание ячейки РКП(б) фабрики им. 3-го Интернационала постановило зачислить В. И. Ленина почетным ткачом на фабрику и причитающееся ему жалование отчислять на улучшение питания местного детского дома.

Прошлое заросло лебедой, крапивой. Да и было ли оно, это прошлое? Старики только и могли рассказать, что пряли, ткали, красили, рыбу ловили, глухарей стреляли. Ягоды много было. Грибов завались. Водка дешевая. И что ткачихи работали всего на двух-трех станках, не как наши стахановки — сразу на сорока.

Руины церквей и монастырских построек, в которых теперь располагались профсоюзные пансионаты горняков и моряков, как что-то реальное никто не воспринимал. Мимо них текла речка Серая, ее берега были нашим настоящим. Мы глядели в ее неглубокие воды, не задумываясь над тем, что у каждой речки есть свой исток и свое устье.

Задуматься заставил меня Константин Батюшков, да, да, тот самый бедный допушкинский, про которого сегодня только и знают что из уст профессора Серебрякова, героя «Дяди Вани». Снимаю как-то с полки Батюшкова, открываю по обыкновению на середине и вдруг читаю:

«Телец упитанный у нас,  
О ты, болван болванов,  
Хвала тебе, хвала сто раз,  
Раздутый Карабанов!»

Это из балладо-эпико-лиро-комико-эпизодического гимна «Певец, или певцы в Беседе славено-россов». Существовали когда-то такие «Беседы», на которых тон задавал граф Хвостов. Это про них написана крыловская «Демьянова уха», предполагают, что как раз про Карабанова и написана.

Подумалось: а может быть, имеет сей писака какое-то отношение к нашему захолустью?

Многое разузнал я про этого Карабанова, Петра Матвеевича: и про то, что офицером он был, и что секретными делами у Потемкина в турецкие войны занимался, и что архивами руководил, а в свободные от службы часы пописывал и необычайно был плодовит. Подражания Шекспиру писал, оды, сказки, идиллии, басни, песни, романсы, тексты для хора, либретто, стихотворные повести, сатиры, шутки, матерные прибаутки, и что он совершенно мастерским «датским» поэтом был, т.е. умел писать стихи на случай, к да-те, — кстати, именно тогда, во Хвостова и Карабанова времена, и возникло это понятие, прежде таких поэтов величали «именинными». Видимо, и переводчиком Карабанов был изрядным: заслужил похвалу Вяземского за перевод трагедии «Альзира» Вольтера и удостоился за тот же перевод злой эпиграммы Крылова.

И вот от всего этого многообразия осталось у мира в памяти лишь песня «Гренадеры-молодцы», да «Искренность пастушки», которую поют в «Пиковой даме», от сорока лет бесконечного писания — всего две пьески!

Да разве ж это мало, возразите вы, — от других вообще ничего не осталось, а тут целых две вещи, к одной из которых сам Петр Ильич руку приложил. Ко всему выше сказанному надо прибавить, что ниву литературы Петр Матвеевич воздвигал не только посредством пера: среди прочих своих детей произвел на свет дочь Феодосию, в свою очередь родившую писателя Константина Леонтьева, ставившего свою предрасположенность к литературным занятиям в заслугу деду и всю жизнь восхищавшегося его характером и темпераментом, в котором сочеталось «нечто тонкое, *версальское*» со «свирепым и необузданным азиатством».

И вот, когда я всего Петра Матвеевича прочитал и голова моя вспухла от виршей, я вдруг установил, что владельцем села Карабаново был вовсе не Петр Матвеевич, а его близкий родственник Павел Федорович. Утешало, однако, что и он имеет к искусству и писательству самое непосредственное отношение и что, не сними я с полки совершенно случайно Батюшкова, не наткнись в его книжке на Петра Матвеевича, не узнать бы мне никогда и о Павле Федоровиче.

Бегу в библиотеку, прошу Карабанова. Библиотекаря, совсем не удивившись, словно эти Карабановы ее начальники, спокойно так меня спрашивает: А Вам кого — Петра Матвеевича или Павла Федоровича? Если Павла Федоровича, то подождать с неделей придется, в очереди люди стоят.

— За чем это они стоят? — спрашиваю.

— Какой же вы малообразованный, — отвечает она, — за «Анекдотами» Павла Федоровича, за чем же еще! Лучшего рассказчика о людях времен Петра, Елизаветы и Екатерины нет и не будет.

И, действительно, Павел Федорович это вам не Петр Матвеевич! Его в «Демьяновой ухе» не изобразишь, он стихами не баловался, был солидным человеком, собирателем древностей, художеств и нумизматики, а между делом исторические рассказы сочинял. Причем относился к этому последнему занятию не с меньшей серьезностью, чем к государственной службе или остальному своему собирательству. Приходили к нему, например, разные князья и графы, владельцы древностей, чтобы дорогую вещицу или рукопись продать, и каждый знал, что обязательно должен с собой еще и какую-нибудь правдоподобную байку про предков своих принести, иначе не покупал у них ничего Павел Матвеевич. Так собралось у него этих баек за жизнь на целую книгу.

А еще он составлял списки замечательных русских людей с древнейших времен. Читая эти списки, погружаешься в глубь веков; стоит лишь копнуть легонько, — и ты уже в семнадцатом столетии, а там этих Карабановых — пруд пруди.

Вот тебе и пыльный камень у обочины! Доходы с карабановского оброка способствовали, можно сказать, процветанию искусства и исторической науки. Не будь их, не оказалось бы многих уникальных собраний ни в Эрмитаже, ни в Оружейной палате.

Само же Карабаново знать не знало ни про какие Эрмитажи. Через управляющего оно исправно посылало в Петербург дань и никаких Карабановых лицезреть не удостоивалось. Не интересовали Павла Федоровича наши березки и одуванчики, ему только и важно было, чтобы денежки к сроку поступали, ну а что управляющий воровал нещадно, так это в порядке вещей, где же их, не ворующих, возьмешь, — «и то ладно, что хозяйство без особого убытка ведет» (из письма Павла Федоровича).

Поэтому, когда люди в селе узнали, что барин собирается их продать, сообщение сие не произвело на них никакого впечатления.

Село с угодьями купил в 1846 году купец по фамилии Баранов. Поначалу его в народе иначе как Барабановым не называли. И не только потому, что фамилия нового владельца перекликалась с фамилией прежнего, а потому, что Баранов при помощи барабанов созывал народ на площадь перед строящейся мануфактурой, где рассказывал о своих грандиозных планах, агитируя наниматься к нему на работу.

Предки Баранова хозяйствовали в местных краях уже давно, строили набоечные мастерские, красильни, сушильни, сновальни. За ткацкими станками в крестьянских избах трудились тысячи семей по всей Владимирской губернии.

Закипела жизнь на речке Серой. Потекли узорчатые карабановские ситцы на рынки Хивы, Бухары, Китая. Железнодорожную ветку к селу протянули. На фабрику, словно в центр какой международной, повадились приезжать иностранцы. А в Париже ткань «Смородиновый куст» удостоилась даже Гран При.

Отстроили церковь, вмещающую 2000 человек, школу, больницу, почту, родильный приют, спальни-казармы, клуб для рабочих, разбили недалеко от особняка хозяина общественный парк. И, как когда-то при Павле Федоровиче, снова стали карабановцы влиять на судьбы родной культуры — финансировали И.В. Цветаева при строительстве его знаменитого Музея изящных искусств им. Императора Александра III.

Но вот власть взяли рабочие, их Совет отстранил последнего Баранова Ивана Александровича от дел, и стал во главе всего слесарь Иван Иванов. Иван Александрович уехал к своей сестре в Москву, а затем, говорят, за границу.

Уже через несколько недель после отъезда Ивана Александровича в Карабаново начался голод, люди стали разбредаться по деревням. Через год фабрика встала. Позднее она опять заработала, но никогда уже не могла набрать прежних оборотов.

Производство хлопчатобумажных тканей не стояло в списке приоритетов новой власти. Индустриальный бум обошел Карабаново стороной. В 1957 году, когда праздновалось сорокалетие Советской власти, жители про себя отметили, что за все эти годы в Карабаново, хотя и получившем в конце концов, несмотря на захирение, статус города, — кроме нескольких домов для передовиков производства, деревянных и кирпичных бараков с печным отоплением да клуба, ничего построено не было. Все маломальски добротные постройки были происхождения дореволюционного, и хотя и обветшали, но дотянули до наших дней без единого капремонта. Большинство жителей обитало в старых казармах-спальнях или собственных избах.

Гипсовый черный Ленин, все мое детство простоявший в полный рост на круглом кирпичном постаменте в центре фабричной площади, вытянутой рукой указывал на кладбище. В 1960 году к девяностолетию Ильича торжественно отпраздновали прокладку первых в истории города полутора километров асфальта. Тротуары заасфальтировали радикально, без единого желобка для водостока, отчего вода после дождя не уходила, стояла пока не высохнет, и населению приходилось ходить в галошах.

По сведениям очевидцев, ныне в Карабаново властвует бурьян, полностью поглотивший в городском сквере бетонный каркас монумента героям Великой Отечественной войны, незавершенного по причине нагрянувшей перестройки. Говорят, бурьян добрался уже до самой фабрики. Стоит у ворот, словно ждет, когда та отдаст концы.

## Кота в котлеты изрубили

Как моих родителей занесло в этот город и почему именно в этот, теперь я сказать уже не могу. Слышал только, что после учебы в Москве и последующих за ней скитаний по среднерусским городам мама уговаривала отца возвратиться на Волгу, в родной немецкий Бальцер, мол, там безопасней, но он нашел работу в трех часах езды от столицы, хотел защититься в своем институте и лишь затем вернуться в родные места.

Родителей в Карабаново приняли приветливо, поселили в доме для ИТР<sup>1</sup>. Не совсем правильное русское произношение мамы никого не смущало. Например, вместо *бутылка* она говорила *бутилька*. Все находили, что это прибавляет ей шарма и упрасивали не переучиваться.

Завуч школы, куда маму взяли на работу, биолог Кононов, был чрезвычайно доволен, что учительницей немецкого, наконец, будет немка. Сын сельского учителя, он успел окончить школу при старом режиме, разговаривал начальственно, но без пропагандистской экзальтации нового поколения. «Всегда раньше такой порядок был — немецкий немцы преподавали».

Мама была совсем молодой, небольшого роста, улыбчивая, говорливая. Ученики ее обожали и дали ей прозвище **Bächlein**<sup>2</sup>.

То было особое время. Прошло всего несколько месяцев, как подписали договор с Германией, о нацистах перестали говорить с осуждением. В Москве, в Столешниковом переулке, в общедоступном читальном зале можно было читать немецкую прессу.

Советский Союз стал еще больше. Ездившие в командировки в Прибалтику, Западную Украину и Бессарабию привозили невиданные товары, например, польские велосипеды с диковинными вывернутыми вверх рулями.

---

<sup>1</sup> ИТР — Инженерно-технические работники.

<sup>2</sup> Bächlein (нем.) — ручеек.

За нападение на Финляндию страну исключили из Лиги Наций. Приезжавшие из столицы пропагандисты уверяли, что нам Лига, этот послушный инструмент английских и американских плутократов, больше не нужна, что теперь у СССР освободились руки и что с немцами мы на вечные времена.

На осенней Лейпцигской ярмарке 1940 года была представлена продукция карабановских предприятий. Местные газеты «Голос труда» и «Правда текстильщика» с гордостью писали, что труд карабановских ткачей смогли оценить тысячи немецких рабочих.

На комбинате работал молодой эмигрант, прядильщик из Бреслау по имени Адольф. Он сносно говорил по-русски и часто выступал в клубе, рассказывал об испанской войне, в которой принимал участие на стороне коммунистов, а также о борьбе пролетариата в странах капитализма. Слушателям после его лекций каждый раз приходилось петь Интернационал, так как лектор, закончив ее, с горящим взглядом запевал.

Теперь эти лекции прекратились. На фабрике друзья поздравляли силезца с германскими победами. Хлопая по плечу, говорили: «Ну Адик, твой тезка дает! Пол-Европы уделал!». Адольф возмущенно протестовал. Ему отвечали: «Ну ладно притворяться-то, ты ж немец, а мы теперь в одной упряжке». Когда началась война, эмигрант куда-то исчез, ходили слухи, что оказался немецким шпионом.

Маму и отца с германскими успехами некоторые учителя поздравляли тоже, правда, не столь открыто. Один коллега-поклонник даже подарил маме по такому случаю цветы.

Однажды отец был приглашен в Москву на обед к своему институтскому профессору, у которого писал диссертацию. Профессор к отцу благоволил еще со студенческих времен. Жил он на Пречистенке недалеко от здания бывшего австрийского посольства, над которым теперь развевался флаг со свастикой. За столом были в основном старинные друзья профессора, однокашники и коллеги. То, о чем они рассуждали, оказалось для отца столь необычным, что он за весь вечер не произнес от потрясения ни слова. Газеты теперь тоже писали о национал-социализме без прежней агрессивности, порой даже намекали на его якобы социалистическую сущность, — но здесь у профессора о Гитлере говорили восторженно как о новом Наполеоне, при-



званном не только освободить Германию от цепей Версаля, но и объединить Европу. Он, дескать, дальновиднее Наполеона, понимает, что с Россией ссориться не надо. С несколько преувеличенным пафосом говорит о расе, о нации, но это, как нарыв, — лопнет иль рассосется.

Все это произносилось в самом центре советской Москвы, в буквальном смысле под стенами Кремля, и казалось чем-то фантастическим, но особого страха не внушало, — ведь с немцами заружились, а большевистскую власть в профессорском доме не хулили, она вообще не присутствовала в разговорах.

Домой отец возвратился совершенно обескураженный.

В стране вводилась жесткая дисциплина. За опоздания на работу и прогулы отдавали под суд, заключали на годы в лагеря. В газетах, почти в каждом номере, сообщалось о мерах по укреплению боеготовности Красной Армии. Устраивались субботники — копали ямы для бомбоубежищ. В средних школах проводились занятия «клубов молодого бойца» и школьные стрельбы. Но война, тем не менее, не входила в планы людей. Если она и начнется, то будет, как и финская, недолгой и победоносной.

Ужасы коллективизации казались далеким прошлым. Голодные годы сменило относительное благополучие. И хотя у отца брат и многие родственники, а у мамы сестра, сидели, несчастье это уживалось в них каким-то образом с оптимизмом и энтузиазмом.

При клубе «Красный Профинтерн» был создан любительский джаз-оркестр, мама играла в нем на мандолине и гитаре. Танцы под его сопровождение давались несколько раз в месяц. Ходили на стадион болеть за местную футбольную команду «Основа»<sup>1</sup>, выезжали с друзьями на речку Узенькую, где устраивали пикники, а дома в кругу друзей — шумные вечеринки. На одной из них отец декламировал популярную в то время вариацию на тему «Руслана и Людмилы»:

У лукоморья дуб срубили,  
златую цепь снесли в торгсин,  
кота в котлеты изрубили,  
русалку паспорта лишили,  
сослали лешего в Нарым...

---

<sup>1</sup> Ткацкий термин.

Все хохотали. Присутствующим была известна концовка, но отец то ли по благоразумию, то ли из-за несогласия с содержанием, ее опустил.

Настроение в семье изменилось с начала 41 года. Дела с диссертацией отца застопорились — на перспективные разработки средства отпускать перестали.

— Мы получили новые инструкции. Науку необходимо использовать исключительно для нужд армии, — сказал отцу новый молодой проректор. — Если говорить о перспективах, то пользуйтесь моментом. У вас лично большие возможности, у вас диплом с отличием, и помните: страна готовится воевать.

— С кем? — спросил отец.

— С врагом.

— С каким?

Проректор нервно взглянул на отца.

— С будущим.

Весной 1941-го отца вызвали в районное отделение НКВД в Александров. Следователь Семен Берман вежливо пригласил отца сесть, посмотрел на него мрачным безразличным взглядом и наизусть продекламировал:

У лукоморья дуб срубили,  
Златую цепь снесли в торгсин,  
Кота в котлеты изрубили,  
Русалку паспорта лишили,  
Сослали лешего в Нарым.  
И вот теперь то место пусто,  
Звезда там красная горит,  
Дни напролет про пятилетку  
Там лектор сказку говорит...

Наслаждаясь растерянностью отца, Берман откинулся на спинку стула и, протяжно улыбаясь, закурил. Помолчав с минуту, он заговорил о другом, ни разу в дальнейшем не вспомнив об изрубленном коте.

— Вениамин Александрович, вот вы у вашего профессора в Москве бываете... А вы когда-нибудь интересовались его прошлым? О тех, с кем общаешься и, тем более, с которыми делом связан, знать побольше надо, я, когда раньше в газете работал, на каждого сотрудника и автора досье заводил, так, для себя, на вся-

ких случай. Компромат вещь полезная. Вот вам, видимо, неизвестно, что профессор Столбов — сын заводчика, а мать — купеческая дочь, да и народец, что у него собирается, — той же породы... Специалист он хороший, слов нет, мы знаем, но в последнее время его заносить стало. К тому же все его производственные идеи — замедленного действия. Мы ведь осведомлены, что там, на встречах у Столбова, за беседы ведутся. Вы, как человек от жизни не оторвавшийся, как производственник, при случае наекните этим прожектерам, что даром никто им хлеб есть не позволит, на столе-то у них, чай, все из Елисеевского, привычки-то старые. Словом, дайте им понять, что на данном историческом этапе нам нужна техника, способная в любой день и час начать производить одежду и обувь для армии, прочную и надежную. Им это уже, где надо, объяснили, но лишний раз напомнить не помешает, тем более в интимной, так сказать, обстановке. И еще... Вы человек в институте не случайный, вас уважают, доверяют. Нам необходимо знать о настроениях на кафедре, особенно в свете новых инструкций...

В тот вечер отца доставили домой в Карабаново, находившемся от райцентра в десяти километрах, на энкавэдэшной «эмке».

В Москву он решил больше не ездить, надеясь, что о его персоне забудут. Но уже через месяц последовал новый вызов — теперь в спецчасть комбината.

Берман восседал за столом местного оперативника. Напомнил о предыдущем разговоре.

Отец ответил, что бывшая тема его диссертации закрыта, а новой он пока не придумал и потому у него не было повода для посещения профессора.

— Письма-то вы Столбову пишете, да и он вам уже два раза ответил. Судя по их содержанию, вы о нашей просьбе и не вспомнили... Пишете черт знает о чем, только не о главном!

Отец изо всех сил старался не обнаружить своего потрясения.

— Мы предложили вам сотрудничество, а вы игнорируете... Что значит, не было повода? Так найдите, придумайте, в конце концов, что-нибудь, хотя бы для вида! Есть столько предлогов возобновить посещения кафедры, поучаствовать в ее заседаниях! Я уже говорил: нам очень важно знать, как там относятся к новым установкам.

— Я решил не писать диссертации, — сообщил отец

Берман посмотрел на него удивленно.

— При чем тут диссертация! Да насрать нам на вашу диссертацию! Вы нужны для выявления антисоветского заговора в текстильном институте. Есть сигналы. Нужно лишь выполнять наши указания.

— Но у меня нет больше причин для посещения Андрея Павловича, нас связывала работа, я не хочу быть навязчивым. И вообще, я не совсем подходящая кандидатура... И я хочу посвятить себя исключительно производству.

Следователь помолчал, встал из-за стола, сцепил руки за спиной и, обходя сидящего на табурете отца, с задумчивым видом несколько раз медленно прошелся по периметру комнаты. Вдруг резко шагнул к отцу и ударил его кулаком в лицо. Удар отшвырнул отца на пол к противоположной стене.

— Ну что, получил, сволочь, кулацкий сын! Мы же все про тебя знаем, потому и едешь к Столбову, что родственную душу чувствуешь! Сколько, скажи, у твоих дедов гектаров земли было, сколько барж... Ты нам еще все расскажешь! Все про дядьев своих и теток в Америке расскажешь, контра!..

У отца была рассечена губа, он сглатывал кровь и ждал конца тирады Бермана.

Конечно, он знал кое-что о своих предках, о материнском хозяйстве в Заволжье, об усадьбах в Паласовке и Дубовке, о мельницах под Царицыном. Но все было потеряно еще в 1918-ом, в детстве они с матерью, сестрой и братом жили впроголодь, с пятнадцати лет приходилось самому зарабатывать на жизнь.

— Мой отец был красным капитаном, он отдал жизнь за власть Советов.

В первый момент Берман опешил. Но уже через мгновение завопил:

— Что ты сказал?! А ну повтори!

Все так же лежа на полу, отец вынул из нагрудного кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги и протянул Берману. Копию этой справки, заверенной нотариусом, он всегда носил при себе. «Справка, дана Веберу Виньямину Александровичу в том, что его отец Александр Яковлевич Вебер служил на Водном транспорте с 1915 года по 1919 год, в 1919 году в январе месяце мобилизован в Красную армию, где и умер: что и удостоверяем. Командир пароходства «Симбирск» Ф. Истапиев. Первый помощ-

ник командира пароходства Абрамович. 1919 год. Верность справки подтверждена 14.6.1927 Сталинградским Подрайкомводом. Секретарь Макаров, печать».

— Вот видите, не владел он никакой баржой. Служил на ней, а потом перешел на сторону красных. Ваши слова оскорбляют память о бойце Красной Армии...

Не раз уже помогала отцу эта бумажка: и при поступлении в институт, и при зачислении на стипендию, и во время периодических кампаний по выявлению социального происхождения.

Сведения в папке Бермана больше соответствовали правде. Александр Вебер, действительно, был владельцем баржи и сам ею управлял, жил на ней со своей семьей, женой и тремя детьми, прислугой и несколькими матросами в специально построенных для этой цели каютах, возил хлеб и лес от Астрахани до Казани и обратно. С начала 1918 года баржу в волжских городах часто захватывали то белые, то чехи, то какие-нибудь банды, заставляя на них работать, а порой и плыть под их флагом. То, что последними захватившими баржу незадолго до смерти деда, скончавшегося в своей каюте от скоротечного тифа, были красные, оказалось для всей семьи большим везением, облегчившим ей дальнейшую жизнь.

Отец блефовал, все могло обернуться для него плохо. Но выбора не было. Нужно вырваться из этой комнаты, а затем попросту сбежать с семьей куда-нибудь подальше, и тогда появится шанс, что о тебе на какое-то время забудут. Так однажды он уже поступил, переехав из Павлова Посада в Кинешму. Тогда в 38-ом на Павлово-Посадской фабрике, где он работал, его тоже начали таскать в НКВД, подозревали в пособничестве брату Виктору, главному инженеру, обвиненному в саботаже, в том, что тот ночью якобы пробирался в цех и откручивал гайки на станках, отца же заставлял эти гайки куда-то отвозить...

Если он выберется из этой комнаты, сразу же переведется куда-нибудь подальше от Москвы, тем более что теперь, после неудачи с диссертацией, никакого смысла оставаться на этом комбинате, обреченном на изготовление портянок, не было.

Берман долго смотрел на бумажку, потом сплюнул и приказал ординарцу помочь отцу подняться.

— Это еще проверить надо, откуда у вас взялась эта справка, — процедил он, опять переходя на «вы». — Коли вы такой незапятнанный, то докажите на деле, помогите органам разоблачить антисоветские элементы в институте...

Последние слова он произнес как-то вяло, без охоты, глядя в сторону, и, помолчав, бросил:

— Можете идти.

Отец в тот же вечер написал директорам далеких комбинатов, давно уже звавших его к себе.

Ответа не получил. Каждый день ожидал ареста. Но грянула война, и у полковника Бермана появились заботы поважнее разоблачения заговора ткачей-вредителей, саботировавших производство ткани для красноармейских гимнастеров.

## Сорвавшийся язь

Кольцо германского наступления сжималось вокруг Москвы. Немецкие самолеты долетали порой и до Карабаново. Покружив над домами и фабриками, они сбрасывали неиспользованные бомбы на близлежащие поля и пустыри и улетали. В один из таких налетов взрывной волной выбило стекла в фабричной казарме-спальне. У девочки-подростка осколком повредило глаз. Много недель потом только и речи было, что об этом осколке.

Случалось, самолеты сбрасывали на город листовки. На одной был изображен Сталин с гармошкой, плачущий и поющий «последний нонешний денечек». Листовки было приказано сдавать не читая. Тринадцатилетний мамин ученик Володя Потапов списал текст частушки, призывавший население сдаваться, и был осужден на 15 лет.

Несмотря на указ о выдворении немцев СССР за Урал, наша семья все еще не была отправлена на спецпоселение, родители должны были лишь отмечаться в отделении милиции. Подписывая повестку, начальник милиции как-то сказал маме наедине:

— Наверное, своих ждете? Не надейтесь, немцам вас не оставят. При отступлении и шлепнуть могут за здорово живёшь. — Он коротко с сочувствием посмотрел маме в глаза.

Положение было отчаянным. Даже если оставят в оккупации, расстреляют по возвращении, считал отец. Он, воспитанный комсомолом, ни на минуту в окончательной победе Красной Армии не сомневался. В первые недели войны он искренне надеялся, что большая часть немецких солдат перейдет из пролетарской солидарности на ее сторону.

Угрозу начальника милиции мама поняла буквально. С этого дня она жила в паническом состоянии. Предлагала отцу бежать.

— Куда? — спрашивал отец. Мама молчала.

В школе от преподавания ее не отстранили. Вместе с учениками она дежурила в открывшемся в конце лета госпитале, шила подворотнички для гимнастеров, вышивала платочки и кисеты,

вязала носки и варежки, помогала собирать теплые вещи, участвовала в сборе средств на постройку эскадрильи самолетов «Юный ивановец».

Отношение коллег к ней стало сдержанней, но биолог Кононов по-прежнему называл ее Милушей, дарил продукты со своего огорода. Отец продолжал преподавать на комбинате.

В сентябре коллеги из столичного министерства сообщили отцу, что с Казанского вокзала в Казахстан и Сибирь ушло три эшелона с немцами Москвы и Московской области. Отец стал настойчиво добиваться нашего переселения. В течение последующих месяцев несколько раз ездил в Александров, обращался в районное НКВД, напоминал о правительственном указе. В одно из посещений его там арестовали. Продержали в камере до позднего вечера. Вызвавший его следователь спросил: — Ты что не веришь в мощь Красной Армии? — Достал из кобуры револьвер, положил перед собой на стол и замолчал.

Молчал не меньше получаса. Курил и молчал. Затем убрал револьвер:

— Можешь идти, больше не приезжай, не надоедай...

Гостиница принимала только направляющихся в эвакуацию. Прикорнуть где-нибудь на вокзале оказалось невозможным. В залах ожидания на полу вповалку лежали сотни людей, другие за отсутствием места стояли вдоль стен, спали стоя. Вокруг вокзала в Александрове царил хаос, горели костры, возле них толпились москвичи, жители соседних деревень и городов, уголовники, беспризорные подростки — стремились уехать, но поездам было не до людей. Многие составы с заводским оборудованием уже неделями простаивали на запасных путях. Куда следовать, не знали — министерства уже эвакуировались.

Отцу ничего другого не оставалось, как при сорокаградусном морозе отправиться домой за десять километров пешком. На проселочной дороге в Карабаново, идущей через лес, в те времена и днем было опасно, путников постоянно раздевали, грабили, убивали. В памяти о той ночи у отца остались беспрерывный вой волков и вспыхивающие в дальнем небе ракеты.

Ни улицы, ни дома в Карабаново больше не освещались, квартиры почти не отапливались, но производство действовало. Коллектив комбината, в основном женщины, перешел на



12-часовой рабочий день, взял обязательство выполнять план на 180 процентов, трудиться без выходных, праздников и отпусков, продолжал бороться за переходящее Красное знамя.

Начались перебои со снабжением, на рынке остались одни соленые огурцы и сушеные грибы, на теплые вещи можно было выменять мерзлую картошку. Многие службы, например почта, закрылись, однако продолжали работать парикмахерская и книжная лавка. Отцу запомнилось, что старый продавец все также ожидал покупателей, все также в их отсутствие разбирал книги. Какой-то пожилой человек купил дореволюционное собрание сочинений Лескова, долго перевязывал его бечевкой и повез на санках домой.

Выходила газета. В одном из номеров она среди прочего сообщала, что заведующий продовольственной базой Булатов отпускает пшено по 1 рублю 90 копеек вместо 1 рубля 60, прячет товары, продает их на сторону, так, например, спрятал ящик конфет и 125 пачек папирос.

Школу по причине морозов временно закрыли, и большую часть дня мама с детьми проводила у родителей подруги — тети Груши и дяди Андрея Кисловых на дальней окраине города у леса в небольшой избушке, заваленной снегом. Туда приходил после работы отец, забирал домой маму и детей.

Тетя Груша по несколько раз в день вынимала из сундука икону, молилась и опять ее прятала. Летом она жила у тяжело заболевшей сестры в Белгородской области и попала под оккупацию, видела, как в Ракитном при немцах открывали Николаевскую церковь, в которой до этого большевики держали зерно, как к храму стекались тысячи деревенских и городских. Пока она там была, сотни взрослых людей приняли крещение. В Карабаново тетя Груша возвратилась, решившись на опасный шаг — пробралась лесом через линию фронта.

В один из дней отец пришел совершенно потерянный, рассказал, что учащиеся в ФЗУ и в техникуме на занятиях больше не появляются. Хотя комбинат работает, все начальство куда-то подевалось. Остановили красильню. Многие жители подались на восток, рассосались по деревням, живут в чужих брошенных избах, жгут заборы, рубят без спроса деревья в лесу. Ходят слухи, что в соседних городах и поселках разграблены продуктовые и хлебные магазины.

— Оставайтесь у нас, пока все не уляжется, здесь вас никто искать не станет, — предложила тетя Груша.

Родители и мои старшие братья Геннадий и Роберт спали на печи, на лавках. Днем появлялись оперативники. Заходили в дома выборочно. К Кисловым постучались всего раз, но документов не потребовали, не обыскивали, попросили лишь самогонки. Предупредили: «Завтра бомбить будут».

Тетя Груша, родом из под Киржача, из деревни, где в первые колхозные годы от голода погибли ее мать и отец, все дни сидела у окна, смотрела на дорогу, слушала репродуктор. «И чё они немцами так страшат. Может, они трудодни отменют».

Во время обходов родители с детьми прятались в погребе. На северо-западе пылал горизонт, слышались дальние взрывы. Затем наступило затишье. Два дня репродуктор безмолвствовал. Но вот он снова ожил, сообщил, что немцы от Москвы отброшены.

Никто в городе отсутствия родителей во все эти дни не заметил, никто их потом ни в чем не упрекнул.

После войны мальчишкой, когда ходил в лес за ягодами или грибами, на обратном пути обязательно заглядывал к тете Груше и дяде Андрею, совсем постаревшим. Они еще держали коз и корову, и угощали холодной ряженкой и козьим сыром. Однажды тетя Груша попросила помочь ей, и мы вместе спустились в погреб, который она называла подполом.

Он оказался маленьким и неглубоким. Слабая лампочка освещала банки с соленьями, квасом, молоком. — С тех пор, как тут твои мать с отцом и братьями скрывались, ничё не изменилось. — А зимой здесь холодно? — Да не очень, теплей, чем снаружи.

С дядей Андреем мы ходили на рыбалку. Один раз у меня сорвался довольно крупный язь, попадавший на леску очень редко. Упал на мокрый песок, я кинулся к нему, но он извернулся и ускользнул в речку. «Повезло ему, вроде как твоему папане с матерью да братьями, — сказал дядя Андрей, насаживая свежего червя. — Не горюй, порадуйся за него, пусть еще погуляет на воле...»

## Певичка из крепостного театра, или Воспроизводство «сомнительного элемента»

Вскоре после победы под Москвой власти вспомнили об отце как о военнообязанном. В феврале 1942-го пришла повестка явиться на сборпункт в зимней одежде, имея при себе документы, продукты на путь следования, ложку, кружку, полотенце, запас белья и постельные принадлежности. Отец и мать перечню этому нисколько не удивились, уже знали от родственников, что немцев из мест ссылки забирают в так называемую трудовую армию. Еще в сентябре 1941 года был приказ «изъять» с фронта всех военно-служащих немецкой национальности и перевести во внутренние строительные части.

В какое конкретно место направят, отцу было неизвестно до самого момента прибытия в пункт назначения. Начиная от Иванова, областного центра, весь дальнейший путь назывался по лагерному — этапом. Терминология, однако, не беспокоила отца. Трудовой фронт? Ну что ж, значит, будем трудиться. К тому же призвали по всем правилам — через военкомат.

Он даже отзыв немцев из Красной Армии не осуждал категорически — объяснял как рациональное использование людских ресурсов: дескать, немцы умеют работать, поэтому пусть укрепляют тыл.

Мама осталась с детьми одна, жила тихо, органам о себе старалась лишний раз не напоминать. Кроме как в школе и детском саду, который посещали мои старшие братья, семилетний Геннадий и четырехлетний Роберт, да на огороде, находившемся на окраине, нигде не бывала.

В текстильном Карабаново всегда был недостаток мужчин, а теперь и вовсе остались одни женщины, и мама надеялась, что смешалась с их скорбной массой, что про нее забыли и она дождется здесь возвращения отца. Даже одеваться стала во все серое, неяркое. Жила в тревоге за мать, братьев и сестер, изгнанных с Волги в сентябре 1941-го, — куда, не знала. Об ужасах переселе-

ния и жизни в чужих домах в атмосфере ненависти ей сообщила школьная подруга. Письмо было настолько отчаянным и горьким, что мама от страха сожгла его.

Но в общем, держалась она мужественно. Паника вновь охватила ее лишь однажды. Утром 25 июля она обнаружила в почтовом ящике кем-то подброшенную вырезку из «Красной звезды» со статьей известного писателя. Слова «Немцы не люди» были подчеркнуты фиолетовыми чернилами.

В то лето она готовила Гену к поступлению в первый класс. За несколько недель научила его читать. Первого сентября по дороге в школу он остановил маму перед большим плакатом на фасаде клуба, изображавшего мальчика его возраста и по складам прочел вслух: «Папа, убей немца!» Незнакомая женщина, наблюдавшая эту сцену, умиленно погладила Гену по голове и угостила соевой конфеткой.

Отец писал из Ухты, у него «все в порядке», с самым трудным, начальным периодом, «справился», «выжил». На конвертах стоял штамп цензуры.

Как-то утром в школе завуч Кононов, симпатизировавший маме, шепнул ей, что слышал о специальном постановлении ГКО — призвать в трудармию и всех трудоспособных немков в возрасте от 16 до 45 лет, кроме беременных и кормящих. Слышал он также, что забирают даже женщин многодетных.

Не дожидаясь повестки, мама решила отправить сыновей в Сибирь к выселенным туда родителям отца: матери и отчиму. Упросила одну свою коллегу отвезти их, отдала ей все, что имела. Так она избежала судьбы многих, вынужденных за считанные дни, а то и часы, распахивать своих детей по чужим людям, по детским домам, с риском никогда больше их не увидеть.

Отправлять детей с чужим человеком тоже было рискованно, с поезда их могли снять, поместить в неведомый приют, но у мамы выбора не было.

Повестка пришла в ноябре, когда Гена и Робик были уже у бабушки в Сибири. В военкомате маме объявили, что ее распределяют в систему Наркомнефти, что она должна будет заниматься физической работой и что на весь период пребывания в трудармии «права на умственный труд» лишается.

Проситься в те края, где был отец, мама побоялась, была уверена, что тогда уж точно пошлют в противоположном направле-

нии. Решила положиться на судьбу. Когда оказалась в Вологодской области на реке Сухонь, обрадовалась: хоть и не близко, но в той же части света. Власть Наркомнефти распространялась и на Ухту, оставалась надежда на перевод в лагерь поближе.

Ехали на Север больше недели, каждая остановка вызывала тревогу, особенно ночью, — постовые ходили от вагона к вагону и тяжелыми инструментами стучали по колесам и стенкам вагонов.

Днем проезжали редкие поселки. Деревянные тротуары тянулись вдоль улиц, околиц, железнодорожных путей. Позднее, в лагере, такие же тротуары вели от барака к бараку, к столовой, к бане, к зданию администрации. Где бы она ни жила потом, в Сибири или в Коми, всюду были эти мостки, проложенные над бескрайней квашней. Тысячи километров деревянных серых досок единого «госта». Того же, что и полки в вагонах, и доски лагерных нар.

Из трудармеек формировали рабочие батальоны с лагерным режимом. Строили кирпичный завод и дорогу к нему. Копали котлован, разбивали ломом замерзшую землю. Пилили лес, оттаскивали мешки с опилками от лесопильной установки, тянули волоком шпалы, грузили на подводы камень и песок, разгружали с платформ бревна, доставлявшиеся из других, более северных лагерей. На многих бревнах были выцарапаны фамилии с адресами, писали мужчины в надежде разыскать своих жен.

Летом и ранней осенью вылавливали лес из затонов, копали глину в карьере, трудились по 12–14 часов в сутки при любой погоде.

Жили в дощатых бараках с двухъярусными нарами. Между досок — песок и опилки, поэтому бараки назывались засыпными: мама думала, что от слова «засыпать», ведь в бараки они возвращались только для сна.

На работу водили колоннами. Перевыполнившим норму полагался стахановский паек, выдавали кусок мыла, дополнительную порцию супа и порцию каши.

Муки голода начались уже через несколько дней после прибытия. Косил авитаминозный понос, цинга. На четвертый месяц у мамы стали опухать ноги. Больше всего изматывала работа на морозе. Когда он становился совсем жестоким и силы покидали окончательно, у многих пропадали страх и инстинкт выживания. Такие ложились в мягкий, как постель, снег и засыпали. Конвойные били их ногами, чтобы поднять, но чаще всего, ничего не добившись, оставляли замерзать в снегу.

Мама попала в один батальон с эмигрантками из Германии. У большинства мужья и взрослые дети были расстреляны или сидели. В тридцатые годы таких немок-эмигранток как членов семей врагов народа отправляли в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ). Теперь, с появлением трудармии, принявших советское подданство можно было использовать наряду со своими немками.

Хотя до посадки эти иностранки и провели много лет в СССР, сущности его так и не распознали. Ходили на эмигрантские партийные собрания, клеймили фашизм и американских империалистов, издавали собственные газеты и журналы, маршировали в праздники по Красной площади, сочувствовали угнетенному во всем мире пролетариату, но страну, в которой теперь жили, проглядели. Аресты и расстрелы мужей и взрослых сыновей они считали ошибкой, недопониманием. Только в ИТЛ и трудармии для них обнажилось то, чего они прежде, несмотря на собственные страшные судьбы, упорно не замечали, о чем не разрешали себе даже задуматься.

Эмигрантки хуже всех переносили условия заключения. Некоторые начали таять на глазах уже во время этапа и вскоре умерли от дистрофии. Другие, сумевшие сохранить кое-что из вещей: шелковые платья, кофточки, сорочки, чулки, — тайком выменивали их на продукты у вольнонаемных.

Были здесь и немки-прибалтки, не пожелавшие переселиться в 1939 году в рейх и дождавшиеся на родине начала войны. Советские венгерки, румынки и финки попадали в трудовые батальоны из-за принадлежности к национальностям, воюющим на стороне Гитлера. Кое-кто оказался в трудармии в результате «зачистки» западных границ — из погранзоны выселялись «социально-опасные элементы».

Присутствие в батальоне эмигранток утяжеляло положение — сотрудники лагеря имели задание обязательно найти среди них сочувствующих национал-социализму. Использовались вербовка и внедрение тайной агентуры. Шантаж и обещания скорого освобождения делали многих доносчицами. Перепроверки слухов и сплетен будоражили жизнь барачников.

На переключке перед строем, на допросах трудармейкам говорили: «Не надейтесь, что освободитесь. И после войны рабочая сила будет нужна, чтобы восстановить все то, что вы, фашисты, разрушили. Здесь работу закончим, отправитесь дальше, в Заполярье».

Мама тянулась к новеньким, к тем, кто еще недавно был на воле, в их глазах еще оставался отблеск свободы. Здесь он пропал быстро. Лица серели, не розовели даже на морозе. Потухали желания, исчезала потребность в радости. Сопротивляться этому можно было, только погружаясь в воспоминания, доставая из сокровищницы памяти самое драгоценное.

Особенно строгой была слежка перед Рождеством, конфисковывали все, что имело или напоминало рождественскую символику. Некоторые женщины как-то ухитрились смастерить самодельные свечи, потом в бараках их тайно зажигали по воскресным вечерам в предпраздничные недели. Собирались маленькими группками, тихо пели, думали о близких. Даже подарки друг другу дарили, кладя под подушки то кусочек мыла, то обломок гребешка, то ломтик сала, то неизвестно из чего связанные носки, варежки, подобия носовых платков. Одна пожилая крестьянка положила маме под одеяло завернутый в такой «платочек» крохотный торт, испеченный на буржуйке из припасенных сухарей.

Управлял маминым батальоном майор Семен Мельдизон. Он ежедневно напоминал, что немцы могут искупить свою вину только усердной работой. Крохотного роста, коренастый, коротконогий, Мельдизон имел слабость — любил крупных женщин. Не обходил вниманием ни одну. Рослая полная эмигрантка, посмеиваясь, с пролетарским берлинским акцентом рассказывала подругам, что он лазил по ней, «точно кот по дереву».

На тех, кто не дотягивал до нормы, Мельдизон орал: «Немцев ждете, сучки, не надейтесь, не дождетесь фашистского х...! Отдам под трибунал за саботаж!»

Когда он проявлял внимание к очередной избраннице, то называл ее «фашисточкой», подкармливал, выхаживал. У себя в барачной пристройке кормил салом и консервами, с собой на прощанье дарил буханку хлеба и несколько кусков сахара. Но поблажек в работе никогда не делал.

У себя в каптерке он заставлял обнаженных наложниц принимать, как он выражался, разные античные позы. Окончив в молодости на Украине художественный техникум и некоторое время проработав отливщиком гипсовых скульптур для парков и скверов, он считал себя человеком искусства. Однако книги в лагере запрещал, изымал даже песенники.

После особенно сладкой ночи он добрел настолько, что назначал всем дополнительный паек. Ходил по зоне веселый, разговаривал с женщинами почти как с равными, одобрительно щипал то одну, то другую за ляжку, рассказывал похабные анекдоты, в основном украинские, и сам же над ними хохотал.

К счастью, мама была небольшого роста, «пигалицы» его не интересовали.

Помощь пришла неожиданно. Маму взяла в помощницы врач лагерного оздоровительного пункта (ЛОП) Мария Моисеевна Шатхина, уже немолодая жена одного из местных начальников. Еще девушкой в родном Бальцере мама закончила медкурсы, и у нее сохранились кое-какие навыки. Конечно, Шатхина могла затребовать и вольнонаемную, но объяснила руководству, что ей нужен человек, знающий немецкий. Многие колонистки русский знали плохо или не знали совсем.

В ЛОПе отсутствовали лекарства, пациентов лечили по преимуществу народными средствами. Главной обязанностью Шатхиной было по несколько раз в день устанавливать, кто и отчего умер. Что бы ни было причиной смерти — сердце, легкие, дифтерия, цинга, пеллагра или туберкулез, — в свидетельствах о смерти чаще всего значилась дистрофия.

Два-три дня в неделю мама работала в ЛОПе, остальные — в карьере. Спала она по-прежнему в зоне, питалась в общей столовой. И хотя Шатхина тайком подкармливала ее, мама чахла.

Однажды после дежурства Мария Моисеевна сказала:

— Спасать тебя, Милечка, надо, дойдешь, и я тебе ничем помочь не смогу. А ты детям своим нужна... Вы ведь здесь все, как уголь в печке. Нас с мужем, может, скоро в другое место переведут. Может, и на фронт пошлют. Есть два способа спастись: или в ИТЛ попасть, своровав, например, турнепс с поля. Больше трех лет не дадут. Но сейчас на полях еще ничего не выросло, так что красть придется со склада. В ИТЛ лучше кормят, там ты выживешь.

— Или? — спросила мама.

— Забеременеть надо. На пятом месяце тебя, глядишь, отпустят. Да не смотри ты на меня так! Не с надзирателем я тебе предлагаю переспать, муж-то твой не так уж и далеко. Торопиться тебе надо, от такой работы и голода могут и месячные пропасть.

Отец переписывался с мамой и официально, и тайно — через посыльных, но сделать для нее ничего не мог.



К осени 1943-го в связи с переломом в войне положение в трудармейских лагерях начало меняться. Режим слегка смягчился. Сняли с некоторых зон вооруженную охрану, заменили ее вахтерскими постами. Вывод на работу во многих лагерях осуществлялся без стрелков ВОХРа. С этого времени, хотя и далеко не везде, разрешались свободное передвижение по территории зоны, чтение газет, игра в шашки.

Постепенно из среды трудармейцев стали выделять строителей и других специалистов, имевших высшее техническое образование и назначать бригадирами, а порой и начальниками колонн. Ставя во главе колонн немцев, руководство надеялось, что трудармейцы будут им больше доверять, и тем самым повысится эффективность труда.

Отца как инженера тоже поставили во главе колонны. Завязались контакты с начальством, и он стал пытаться перевести маму в район Котласа, куда его колонна была передислоцирована из Ухты. Перевод был чреват опасностью, что мама попадет в худший лагерь. В вологодских лесах было не сладко, но мама была жива, а тут кто знает, на какие работы направят.

Поздней осенью ее «затребовали» в лагерь под Котласом, в бригаду, прокладывавшую лежневую дорогу. Работали в лесу вдоль Вычегды. Мужчины из соседнего лагеря валили деревья, прорубали просеки, женщины ошкуривали бревна.

Многое здесь было не так, как в отделении Мельдизона. Женская и мужская зоны находились недалеко друг от друга. Мужчины по ночам пробирались в женский барак к подружкам, соседок не стеснялись. На разовые встречи начальство закрывало глаза. Не приветствовались любовь, постоянная связь, тем более с собственными женами или мужьями.

Отец жил в отдельном отсеке барака вместе со своими заместителями Василием Карловичем Апсаном и Петром Павловичем Тумом. Первый до трудармии был главным инженером кораблестроительного завода в Ленинграде, второй — капитаном дальнего плавания. Познакомившись в лагере и пережив первый страшный период зимы и лета 42-го года, когда люди ежедневно умирали сотнями, они сдружились, старались держаться друг за друга, окружали себя надежными людьми. Нормы постоянно выполнялись. Начальство отряда было довольно и в дела колонны почти не вмешивалось. Апсан и Тум занимались снабжением

и координацией трудовых процессов на объектах. Им приходилось много разъезжать. В лагере, где находилась мама, они отбирали заготовки для шпал. Повод установить с ней контакт представлялся сам собой.

С конца 1943 года в лагерях начали проводить вечера художественной самодеятельности. Зная, что мама играет на гитаре и поет, Апсан и Тум пригласили ее выступить на вечере в мужском отряде.

Концерт устроили в столовой после ужина. Отец сидел среди зрителей и всеми силами старался не показать, что знает маму. Мама тоже виду не подала, хотя ей так хотелось броситься ему на шею.

О том, чтобы петь по-немецки, не могло быть и речи. Порусски она любила петь романсы под собственный гитарный аккомпанемент. Ее коронным номером был «Соколовский хор у Яра»:

«Соколовский хор у Яра  
Был когда-то знаменит.  
Соколовская гитара  
До сих пор в ушах звенит...»

В романсе рассказывалось о судьбе цыганки Азы, певицы знаменитого московского ресторана «Яр», о том, как та простудилась и умерла и как тяжело музыканты и посетители ресторана переживали эту утрату.

По лицам слушателей текли слезы, и не только потому, что они жалели бедную Азу. Песня напомнила им о жизни, где люди любили, пили вино, грустили об умерших. В их лагере о погибавших давно уже не грустили.

Посреди аплодисментов кто-то вдруг воскликнул:

— А на эту мелодию есть другие слова, повеселей: «Всюду деньги, деньги, деньги...»

Мама улыбнулась и запела:

Всюду деньги, деньги, деньги,  
Всюду деньги, господа.  
А без денег жизнь плохая,  
Не годится никуда.

Когда дошла до слова «господа», она запнулась и от ужаса зажмурилась, но было уже поздно, зал песню подхватил.

Деньги есть, и ты, как барин,  
Одеваешься во фрак.  
Благороден и шикарен...  
А без денег ты — червяк.

Денег нет, и ты, как нищий,  
День не знаешь, как убить, —  
Всю дорогу ищешь, ищешь,  
Что бы, братцы, утащить.

Утащить не так-то просто,  
Если хорошо лежит.  
Ведь не спит, наверно, пес тот,  
Дом который сторожит.

Пели трудармейцы, вольнонаемные, охранники и даже представители администрации.

Ну, а скоро вновь проснешься.  
И на нарах, как всегда,  
И, кряхтя, перевернешься,  
Скажешь: «Здрасьте, господа».

Мама слов почти не произносила, продолжала брать на гитаре аккорды, на публику старалась не глядеть. «Теперь, как пить дать, контру припаяют». Посмотрела на отца. Он пел вместе со всеми.

«Господа» зашевелился,  
Дать ответ сочтут за труд,  
На решетку помолятся,  
На оправку побредут.

Всюду деньги, деньги, деньги,  
Всюду деньги, господа.  
А без денег жизнь хренова,  
Не годится никуда.

После концерта к маме подошел начальник отделения Нечитайло:

— Песня что надо. В жилу, так сказать. Ты, это самое, почаще приезжай!

В ту ночь она осталась у отца. После он шутил: снял, мол, певичку из крепостного театра. С начальником колонны мамино лагеря, тоже немцем, договорились. Накануне Апсан и Тум временно перебрались в барак на свободные нары.

На следующее утро охранник посмотрел на отца одобрительно: ну вот, нормальный мужик, стало быть.

Теперь мама изредка приезжала к отцу на правах лагерной любовницы. После работы ее доставлял на своей лошади Василий Карлович. Начальству отряда и даже управления, может, и было известно, что отец встречается с женой, но колонна работала хорошо, была лучшей в управлении, и на «связь» решили, видимо, посмотреть сквозь пальцы.

— Воспроизводство сомнительного элемента. Диверсия! — шутил впоследствии Петр Павлович Тум, рассказывая мне эту историю, — уж они точно бы не дали тебе родиться, знай о том, что задумали твои мать с отцом.

Под Новый год лагерное начальство начинало пить задолго до праздника. Последние два дня надиралось до полусмерти. Обслуга из вольнонаемных работала спустя рукава и тоже напивалась. Даже охранники. У трудармейцев появлялись кое-какие свободы. Можно было притормозить темп работы, подольше протянуть время обеда.

В те дни мама бывала у отца чуть ли не каждый день, а Новый год и свою третью беременность праздновала вместе с друзьями отца. В том, что благополучно зачала, она нисколько не сомневалась.

Вспоминали счастливые дни, говорили о детях, о родителях, обо всем на свете, но только не о пережитом в лагере. Отец рассказал лишь о своем прибытии с первой партией в Ижму в феврале 42-го: «Привезли тысячу человек в лес. Заставили строить себе бараки. Еда — ржавая селедка и непропеченный хлеб. Воду не подвозили, хотя до реки было рукой подать, всего километр. Пили какую-то жижу из проруби в соседнем болоте. На второй день у большинства — кровавый понос. За две недели умерла половина». Больше ничего не стал рассказывать: «Потом когда-нибудь...»

После того как врач установил, что мама беременна, она к отцу больше не ездила. Хотела исключить любой риск: поведение начальства было непредсказуемым. Ближе к весне ее освободили.

Снабженная в дорогу мешком черных сухарей и чемоданом вяленого леща и таранки, она отправлялась навстречу нерешительной сибирской весне. Не страшил ни нетопленный вагон, ни задержки движения, ни многодневные стоянки на полустанках. Ее живот, несмотря ни на что, прибывал вместе с теплом и светом.

На девятнадцатый день пути во сне она увидела перед собой лесную просеку и себя, шагающую по ней с топором в руке. Просека все расширялась, лес отступал и скоро исчез совсем. Осталась одна совсем кривая сосна, стоящая посреди снежного поля. Светило солнце. «Сруби меня! Мне здесь так одиноко!» — сказала сосна. Из последних сил мама занесла топор, раздался звенящий звук, и она пробудилась.

Было почти светло. По вагону шел проводник с колокольчиком и выкрикивал: «Приближаемся к станции Сарбала! Стоим недолго!»

## Отец Василий

Лесистые заснеженные сопки, у их подножий разбросанные в беспорядке черные избы, деревянный вокзал, несколько пакгаузов по обе стороны полотна — вот и вся Сарбала. Пожилой проводник, высадивший маму на платформу, сказал:

— Ну вот, добралась. Не тащи багаж на себе, попроси вон у стрелочницы санки. Скинешь ребеночка — опять загребут.

Поезд скрылся за горой, стрелочница куда-то исчезла, и мама осталась одна. Нужно бы спросить, как пройти. В окне станции мелькнул человек в униформе. Документы у мамы были в порядке, но спрашивать расхотелось. Взвалила пожитки на плечи и пошла наугад.

Вскоре она уже стояла перед старым приземистым срубом, ничуть не сомневаясь, что это он и есть, тот самый дом. Распознала его по чистой стрехе без свисающих до земли сосуллек, но главное, по-особому сложенной поленнице.

На крыльце нетронутый снег. Воскресенье, все еще спят. Как ни хотелось ей к детям, которых не видела почти два года, приказала себе сеть на скамейку перед калиткой, стала ждать, пока кто-нибудь не проснется.

Бабушка Терезия Августовна и дедушка Александр Адамович, отчим отца, двоюродный брат моего настоящего дедушки, умершего еще в Гражданскую войну, жили здесь с осени 1941 года с оставленными на их попечение шестью внуками. Дедушка был сторожем в совхозе. Другой работы для него, бухгалтера, не нашлось. Жалованья сторожа для такой оравы хватало самое большее на неделю. От родителей внуков помощи не предвиделось: одни в лагере, другие — в тюрьме.

Завели огород, скотину, собирали в тайге ягоды, грибы, орехи, коренья. Ловили рыбу. Если удавалось поймать многокилограммового тайменя, то-то был праздник! Ни в сеть, ни на крючок таймень обычно не попадался. Его глушили под прозрачным льдом, когда все видно до камушков на дне и ты бежишь за рыбой

по льду, прижимаешь ее к берегу, к мелководью, и потом бьешь по льду дрыном, на короткий момент она оглушена, и нужно скорей прорубать во льду лунку и тащить добычу наружу.

Дети постарше ходили в школу: в одной комнате занимались несколько классов. Обходились без учебников и книг. Тетради шили из листов упаковочной бумаги. Чернила готовили из сажи и лукового сока. Когда ломались перья, делали ручки из камыша.

Проблем из-за немецких имен не возникало. Большинство учеников и учителей было из ссыльных. Лишь однажды новой молодой учительнице, незадолго до этого окончившей педучилище в Сталинске и присланной в Сарбалу по распределению, вздумалось загадать классу загадку: «Брынь-брынь-брынь, вытри глаз, посмотри построже, кто-то здесь есть у нас на Гитлера похожий?!» С тех пор за учительницей закрепилось прозвище «Гитлеровна».

Немолодой бородастый мужчина в черном тулупе, несший мимо ведра с водой, спросил мягким басом:

— Ты к кому?

— К Александру Адамовичу. Я Эмилия, Миля — их сноха, будить не хочу, пусть поспят.

— Отпустили что ли?

— Ну да.

— Насовсем?

— Беременна я, вот и отпустили.

Мужчина поставил ведра, перекрестился.

— Господь тебе в помощь, Эмилия, — сказал он с неожиданной торжественностью, поклонился и перекрестил маму. — Добро пожаловать в нашу глухомань! Сосед я ваш, Василий Ильич. Вон дом наш наискосок. Чё ты будешь сидеть тут на холоде, пойдем к нам, погреешься. Чайку попьем. С женой моей Полиной Никитичной, попадъей, познакомишься.

— А вы поп что ли?

— Был поп, да получил в лоб, — улыбнулся Василий Ильич. — Длинная история, потом расскажу.

У Никитичны натоплено. Две дочки, почти барышни, уже на ногах. Русская печка, около нее в ряд несколько пар валенок. Пол сосновый, некрашенный. В красном углу — иконы, целый иконостас, перед каждой — горящая лампадка.

— Здесь в Сибири за пять последних лет насобирал, люди сами несут. Все сибирские, темные, не такие, как наши московские.

— А если кто донесёт? У нас до войны в Карабаново, что неподалеку от Александровской слободы, учителя даже яйца красить боялись. Про кого узнавали, сразу увольняли.

— Так то учителя, а сосланному попу, который не служит, свои иконы иметь как запретишь? Следят, конечно, чтобы не крестил, не венчал, не отпевал.

Сели завтракать. Картошка с постным маслом, поджаренный лук, пареная репа, травный чай.

Перед едой перекрестились, прочли молитву.

Мама сказала:

— Я креститься не приучена, а молитву знаю.

— Баптистка, значит, иль меннонитка?

— Нет, лютеранка.

— Разница не ахти какая.

— У нас в младенчестве крестят. И вообще, у нас по-другому.

— Как по-другому?

— Я в этом не очень разбираюсь. Церковь в нашем городе на Волге сломали, когда я еще девочкой была. Но конфирмацию свою помню хорошо...

— Так в чем разница-то?

— Ну, у нас церкви настоящие, и священники настоящие, в мантии, орган играет, а у них, у меннонитов, словно в клубе. Правда, в трудармии, в лагере нашем, меннонитки самыми стойкими оказались. Никого в беде не бросали. Я слышала, здесь в ссылке многие, даже православные, в баптисты подались, у них ведь тоже, говорят, при нужде и без священников можно...

— Ну и подались, ну и что в том-то, чай не черту, Христу молятся, — улыбнулась большеротая Полина Никитична.

Отец Василий с укоризной посмотрел на жену, но промолчал.

В 20-е годы, окончив семинарию и женившись, он стал служить в деревенском приходе около подмосковного Егорьевска. Несмотря на нелюбовь новой власти к Богу, народ, по его словам, церкви тогда не сторонился. В Егорьевском уезде детей крестили почти все, кто открыто, кто тайком, и коммунисты крестили, особенно те, кто из деревенских. Сами не приходили, кумов с крестными присылали. «Ну и забеспокоились власти, — продолжил рассказ отец Василий, — придумали людей спаивать. Рабочие, ко-



торых в село присылали, сплошь пропойцы были. Пьянствовали и деревенские активисты, пример подавали. В ту пору стограммовую бутылочку «пионером» прозвали, четвертинку — «комсомольцем», а поллитровку — «партийцем». В 1930 году запретили колокольный звон, он-де рабочих будит, пришедших с ночной, и наступила во всей России тишина, какой тысячу лет не было. Словно перед бурей. Потом, действительно, словно вихрь налетел, стали колокола с церковью сбрасывать, государству, мол, медь нужна, церкви ломать, священников сажать. В монастырях остроги устроили. Даже мирян, певших в церковных хорах, забирали. Священников нашего уезда куда-то на Оку свезли, потом на пароходе «Безбожник» в верховья Камы переправили. Я на тот пароход лишь случаем не попал.

Вначале арестовали его самого, позднее жену. Детей забрал к себе брат Полины Никитичны, спас от детдома. Восемь лет отсидел Василий Ильич — по тем временам еще легко отделался. Позже арестованных священников в живых, как правило, не оставляли.

После лагеря отца Василия отправили в Сибирь на поселение. Полина Никитична, отсидев свое, перебралась к нему с дочерьми. Уже пять лет как снова все вместе живут. Он неподалеку, в совхозе имени Ворошилова плотником работает, она скотницей.

— Мы тут со свекром твоим, Александром Адамовичем, когда по грибы или на рыбалку ходим, церковные темы обсуждаем, — сменил тему отец Василий. — Хворый он, дай Бог ему здоровья. Коль поживет еще — наверняка православным станет. Дозревает помаленьку. Крест нательный стал носить. Терезия Августовна, я слышал, недовольна, католиком его ругает. А он однажды остановился посреди тайги на поляне и воскликнул: «Красота-то какая! Как в храме». Ну точно как православный.

— А может, он церковь свою лютеранскую вспомнил? Там тоже красиво было, окна разноцветные, орган играл, — возразила мама.

— Нет, нет, тут солнышко сквозь ветви светило, на золотых стволах играло, словно свечи на окладах. Он когда у нас бывает, перед иконами каждый раз подолгу стоит, объяснить их просит. Я ему рассказал, что князь Владимир и послы его, те, которые во все концы света отправлены были, чтобы узнать, какая из религий лучше, — тоже ведь германцами были, вроде как сам Александр Адамыч, а православную службу краше всех нашли. А вот и сам Александр Адамыч, легок на помине.

Мимо окон медленно шел высокий человек в телогрейке и валенках. Мама с трудом узнала в нем свёкра. Сутулился он всегда, но согбённым никогда не был.

С появлением мамы жизнь большой семьи изменилась. На работу ее никуда не взяли, и она стала подрабатывать на дому: перешивала жителям поселка их старые вещи, стригла совхозных рабочих. Платили ей молоком, яйцами, картошкой.

Бабушка могла теперь порой отлучаться на моления к баптистам. Дедушка ворчал:

— Что это еще за вера такая!

— Тебе, Александр Адамыч, теперь, после того как ты, словно католик какой, нательный крест стал носить, судить меня вообще не к лицу, — отвечала бабушка.

В дом приходили заказчики, рассказывали о себе. Большинство — из раскулаченных, кто из средней полосы, кто с юга России. Некоторых привезли сюда еще в 1929-ом.

Слушая их рассказы, мама думала о судьбе матери, братьев, сестер. Что с ними, где они? Родственники писали, что мать с четырьмя братьями высадили в конце сентября 1941-го где-то в степи среди юрт и землянок, о замужних сестрах вообще ничего не известно.

Вечерами дедушка все чаще уходил к Василию Ивановичу и Полине Никитичне. Говорил во время этих встреч в основном отец Василий, истосковавшийся по проповедям.

— Ну а насчет различий, то я тебе, Александр Адамыч, скажу так: вы, лютеране, все до конца договариваете, словно все знаете, даже тайну Провидения. Потому и позволяете каждому прихожанину писание толковать, предания не признаете.

— Ну вот, опять ты за свое, Василий Ильич, — тихим голосом упрекала мужа Полина Никитична, кладя на дедушкину тарелку куски соленого тайменя.

Но отец Василий знал, что дедушке речи его небезынтересны.

— Да как это так — позволять любому писание толковать! Человечество прельщаем, вот Церковь православная от прельщения его и охраняет. Ведь если бы человеком всегда Дух Святой водил, да разве бы я тогда чего против имел! Брошен ваш лютеранин без таинств, одинок, все равно что атеист. Ну как можно жить на белом свете и не желать воздействовать на жизнь свою вечную. Лютер ваш смелый

был человек. Латинству бы к нему прислушаться, тогда он бы так далеко не зашел, не стал бы церковное предание отрицать. Вначале ведь он только и хотел сказать: не совращайте людей надеждой, что от грехов откупиться возможно, у одного раскаяния есть сила такая. Не вняли ему, вот он и завёлся! Словно бес в него с той поры вселился, все до конца захотел сказать, все изрек, и даже то, о чем молчать должно. Для вас, лютеран, тайны словно не существует!

— А как же музыка церковная. Ведь она в основном протестантская, Бах, Гендель, Брамс... — попытался возразить дедушка. В молодости он учился игре на органе, пел в церковном хоре.

— Но это же тоже — всего только прославление, поклонение, все эти ваши хоралы да гимны. Бог сам, мол, рассудит, кого спасти, кого нет.

— Лютер считал, что человек, горячо делающий свое дело, Богу служит не меньше, чем монах, что труд и есть молитва. Богу служить — значит жить для тех, кто в тебе нуждается. Бог нас не проверяет, он нам доверяет, а мы — ему. Доверие и есть покаяние.

— Знаю, знаю, вы не ждете, чтобы снизошел к вам Дух Святой, чтобы он воплотился, в реальность освятился, для вас Церковь — только символ, для нас же она — плоть Христа, которая как живая. Мы когда хлеб преломляем, думаем, что это в реальности происходит, что мы действительно тело Христа преломляем, что в нем, в хлебе этом — вся Его божественная энергия заключена. Вот вы говорите, что вас не церковь спасет, а Христос, но голову от тела как отделишь? Для чего тогда Христос на землю приходил и таинства установил, если без них обойтись можно...

— Мне однажды, еще до первой мировой, в концерте «Страсти по Матфею» слышать пришлось, есть такое произведение у Баха, редко его исполняют, — отвечал дедушка мягко, с задумчивой интонацией, словно не хотел, чтобы его слова воспринимались как возражение, — в звуки эти я тогда словно в само Евангелие погрузился, и трепетание ангельских крыльев слышал, и рыдания Петровы, даже удары бича о тело Иисуса, — страшно мне стало, но Христос будто сам меня за руку держал...

Когда у отца Василия не хватало аргументов или он считал, что они бесполезны, он крестился, мычал что-то вроде «Господи, прости их, грешных» и замолкал.

Бабушка каждый раз с тревогой ждала дедушку домой, но ни о чем его не расспрашивала.

Родив меня, мама долго болела, лежала в послеродовой желтухе.

Однажды дедушка обронил за обедом:

— Ребенок слабенький, не дай Бог, умрет некрещеным.

Бабушка предложила:

— Покрестим сами. По существу ведь не священник крестит, а Христос через Дух Святой, а Дух Святой жив в каждом, кто верит.

Она вспомнила, что в немецких колониях в ее дальнем Заповжье священника не видали порой годами и обряд крещения разрешалось выполнять любому христианину.

— Так то священника не было, а тут — через улицу живет, — настаивал дедушка.

Бабушка возражала, но без горячности. Отца Василия она уважала и благословения его принимала всерьёз. Ее беспокоили не религиозные различия, а то, что меня будут по-православному три раза в купель окунать, — еще застудят. Поэтому мама и бабушка к отцу Василию отправились вместе с дедушкой. Дети остались дома, их ни во что не посвящали. Проболтаются, никому не одобровать.

Взяли с собой распашонку, чепчик, пеленки из старинного полотна — вещи, передававшиеся из поколения в поколение. Бабушка не забыла их даже в те считанные часы сборов при выселении в 41-ом.

Ноябрьская морозная ночь, небо открытое, звездное. Снег предательски звенит под ногами.

О сомнениях бабушки и мамы отец Василий догадывался. Поэтому, завидя гостей, сказал:

— Ну вот и хорошо, что пришли. Один Господь, одна вера, одно крещение. Владимир сам после решит, какую Церковь избрать, а сейчас охраним его.

Закрыли на все засовы ворота и двери. Занавесили окна. Крестными стали мой неродной дедушка и попадьа. Естественней было бы сделать восприемницей одну из дочек отца Василия, но обе они были несовершеннолетними, что не допускалось.

Посредине избы уже стоял деревянный чан с теплой водой. Отец Василий облачился в белые одежды из полотна, наподобие рясы, зажег свечи. Керосиновую висячую лампу задувать не стали, чтобы с улицы не казалось, что в доме совершается нечто необычное.

Дымок из самодельного кадила струйкой тянулся к низкому потолку, пахло хвоей и кедровой смолой. Обойдя купель, отец Василий густым голосом возгласил:

— Благословенно царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

После читал ектенью, затем трижды перекрестил воду в купели и трижды повторил:

— Да сокрушается под знаменем образа креста Твоего вся сопротивная силы.

Одна из дочек подала отцу глиняную чашку с елеем, приготовленным Полиной Никитичной из домашнего масла. Он подул на чашку, трижды перекрестил, трижды пропел «Аллилуйя», трижды пролил елей крестообразно в освященную воду и воскликнул:

— Благословен Бог, просвящай и освящай всякого человека, грядущего в мир, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Потом опустил два пальца в елей и сотворил три креста на моем челе и груди и между лопатками на спине. Помазал за ушами, на руках, на ногах, все тело, взял меня и повернул лицом на восток:

— Крещается раб божий Володимир во имя Отца... Аминь! — И осторожно погрузил меня в чан с освященной водой.

— И Сына... Аминь! — И еще бережней опустил меня в воду во второй раз.

— И Святаго Духа... Аминь! — После чего совершил обряд в третий раз.

Бабушка напряженно и строго следила за действиями отца Василия.

А попадья с дочками пели: «Елице во Христа крестится во Христа облекостися».

Рассказывали, что я не плакал, безропотно перенося все эти процедуры и дальнейшее пеленание. Бабушка считала, что я был заморожен огнем свечей и мельканием теней по стенам и потолку, вертел головой и таращил глаза. Со мной, легко запеленатым, все присутствующие трижды обошли купель.

Потом читали из Псалтыри, из Евангелия, причастили меня каплей «вина» — самогонкой производства отца Василия, настоянной на можжевельнике и подкрашенной смородиновым соком, совершили пострижение.

Бабушка, дедушка и мама, мало знавшие православные традиции, шептали беззвучно немецкие молитвы, свой Символ веры и Отче наш.

Наконец, меня завернули в тысячу одеял и унесли домой.

— Свидетельство о крещении, Эмилия Генриховна, я выдать, сама понимаешь, не могу, — признался маме на прощание отец Василий, — но если малец, когда вырастет, придет в Воскресенский приход в Егорьевске, назовет мое имя и скажет, что его крестил отец Василий, на слово поверят, в книгу занесут и свидетельство выдадут.

Дедушка согласился остаться, чтобы отпраздновать событие. Напитки Василия он по нездоровью переносил плохо, но сегодня день особый.

— Это хорошо, Александр Адамович, что мы Володимира в младенчестве окрестили, — произнес отец Василий, поднимая первую рюмку, — не многим такое счастье в наше время выпадает. Вот только крестные староваты были. Восприемники должны крещеного по жизни сопровождать.

— Наш царицынский пастор говорил, — подтвердил дедушка, — что, когда мы крестим дитя в младенчестве помимо воли его, — это так же естественно, как мы его рождаем помимо воли его, потом он вырастает в сознании, что крещеный, и воспитание его идет без ненужных душевных метаний.

— Правильно говорил твой пастор, но как-то уж больно от головы сказано. У вас, лютеран, священник — не батюшка, а ученый какой-то, я бы то же самое, да только по-другому сказал. Но по сути все правильно.

— То-то и оно, — по сути, — поддакнул дедушка.

Отец Василий налил по второй.

— Давай, Адамыч, помянем тех, кто до этих дней не дожил, войне, видать, конец скоро. Не дошли немцы до Сибири. А как замахнулись! Коммунисты тоже широко шагнули и штаны прорвали. Может, другая жизнь теперь будет. Горе очищает. Может, проснется народ теперь после победы, скинет большевиков. А может, у тех у самих душа просветлеет... Рассказывают, Сталин церкви открывает. Говорят, уже и Политбюро молится. Ведь коли они теперь не переродятся, то когда же?.. Сам Бог им шанс дает, но, боюсь, Адамыч, еще больше они возгордятся... Добьют до конца и народ и веру. Ведь уже всех, почитай, через лагерь пропустили. А может, все же одумаются? К истине ведь всегда возвратиться возможно...

Дедушка не отвечал. Было слышно, как ветер швыряет в окна крупной ледяной крупой. На тысячи верст вокруг простиралась тайга, начиналась еще одна долгая зима. На руках у него теперь семь ребятишек, а до лета — целая вечность. Все здоровые, слава Богу. Вот все ли крещенные, в первый раз вдруг подумал он.

— Александр Адамыч, заходите почаще. Вечера длинные, самогонкой и грибами мы запаслись, — попрощалась попадья.

Может и случилось бы так, что перекрестился бы дедушка у отца Василия, но он не дожил до весны. Нянечки в больнице рассказывали, что отец Василий приходил к нему накануне его кончины. О чем они говорили наедине, одному Богу известно.

## Спаситель

Самые ранние воспоминания связаны у меня с железной дорогой. Мне было немногим больше двух лет, когда мама повезла нас, троих детей, из Сибири в Котлас на русский Север к отцу, чтобы оттуда после его освобождения из трудлагеря направиться всем вместе в Карабаново, единственное место вне лагерной зоны, где отца с матерью помнили и ценили и где отцу обещали работу.

Мне мало кто верит, но моя память сохранила многие подробности того путешествия: снование людей по вагону, крикливые голоса проводников, хлопанье и лязг дверей, свистки паровозов, запах гари, снежные горы за окном и широкое лицо игравшего на гармошке солдата. Все мои жизненные ощущения начинаются с этих звуков и запахов, настолько вытеснивших все другие впечатления, что кажется, словно и на свет-то я появился в том поезде и словно ехали мы в нем с самого моего рождения вплоть до прибытия в Карабаново и так сроднились с рельсами, что, достигнув, наконец, цели, не захотели с ними расстаться и поселились у самого железнодорожного переезда.

От фабричной узкоколейки наш дом отделяло булыжное шоссе. Столь близкое соседство с главными «транспортными артериями» города нас не тяготило. В первые послевоенные годы в наших непрестижных краях ездили в основном на лошадях, запряженных в телеги и сани. Узкоколейка тоже не была перегруженной. Сновали нешумные самоходки и дрезины или паровозик тянул, не спеша, со станции и на станцию товарные платформы с сырьем и готовой фабричной продукцией.

Наш небольшой двухэтажный дом, в котором умудрились разместиться восемь семейств, широкий двор перед ним и сарай отделял от дороги низкий деревянный забор. Двор пустой и просторный, заросший сорной травой, посередине него огромный серый камень. Считалось, что лежит он здесь с ледникового периода. Говорят, что этот камень до сих пор на своем месте и совсем не



изменился — единственный в городе объект, не поддавшийся разрушению последних лет, ставший для карабановцев своего рода предметом культа, символом стабильности и надежды.

Серый камень был моим первым другом. Летом он обрастал бурьяном и лебедой, и, пробираясь сквозь их заросли, я представлял себя в глубокой горной долине. Зимой он превращался в ледяную веселую горку. Но больше всего я любил играть около него ранней весной, когда сходил снег и начинала подсыхать земля. На неподветренной стороне, на припеке, я выковыривал из земли оттаявшие разноцветные стеклышки и черепки и мог, сидя на какой-нибудь деревяшке, часами их перебирать.

Мы, дети, закапывали осенью под камнем стеклышки, а весной выкапывали, словно сокровища из тайников. Считалось, кому повезет, могут в этих стеклышках, долго пролежавших в земле, увидеть другую сторону земли, Америку, например.

Камень к полудню нагревался, я прислонялся к нему спиной, как к печке, его тепло проникало сквозь одежду и заряжало сладким чувством причастности к окружающему меня миру.

В апреле воздух наполнялся радостной силой и щедро ею делился. Все оживало, даже старые ветви и прошлогодняя листва, да и сам камень казался просыпающимся после зимней спячки, жмурающимся от солнца зверем. Поленица дров, не до конца сожженная за зиму, тоже наполнялась жизнью, из нее без конца выползали какие-то жучки и паучки, а среди них — первые божьи коровки.

Мне не нравилось, когда девочка-соседка, посадив божью коровку себе на ладонь, говорила: лети в небо, где детки кушают котлетки. Порой она заменяла «котлетки» на «конфетки». Мне больше нравилось делать, как меня учила соседка тётя Настя: посадить божью коровку на указательный палец и сказать: «Божья коровка, лети на небо, узнай нам на счастье, будет завтра ведро али ненастье». Я не знал точного значения этих слов, но быстро усвоил, что «ведро» это что-то хорошее, а «ненастье» что-то плохое, тётя Настя произносила слова эти по-разному, одно радостно, другое — грустно. К тому же я очень любил тетю Настю, а «ненастье» звучало как «не-Настя».

Если коровка взлетала, это обещало хорошую погоду. И коровка редко ошибалась. А еще мне нравилась присказка: «Лети-ка домой, в твоём доме пожар, твои детки одни». В ней были тревога,

беспокойство, а также предположение о существовании какого-то другого мира, к которому принадлежит божья коровка: мир этот должен быть чем-то связан с нашим, иначе зачем бы она прилетала сюда, к нам, оставляя своих деток одних, подвергая их опасности. Все мои божьи коровки улетали за переезд.

Покидать пределы двора настрого запрещалось. Ребенком я был послушным, и мама, имевшая возможность наблюдать за мной из окон квартиры, не волновалась. Она не догадывалась, что пространство двора с каждой минутой становилось для меня все теснее и что мной уже давно владело желание отправиться туда, куда улетала божья коровка, а именно, за пригорок, на который за переездом взбиралась окаймленная березками дорога, туда, где каждый день заходило солнце. Что таилось там, за разноцветными домиками и заборами? Там шла чья-то загадочная жизнь, я слышал голоса детей, лаяли собаки, блеяли козы, пели петухи, играл какой-то звонкий инструмент. Позже я узнал, что это был ксилофон и что играл на нем такой же, как я, маленький мальчик.

И вот однажды, в один особенно яркий солнечный день, я пошел на звуки этой музыки.

Самым трудным оказалось перейти через шоссе. Оно было вымощено крупным булыжником разного размера, уложенным неравномерно. В некоторых местах камни выступали из земли, и чтобы не споткнуться, приходилось их обходить. Я старался ставить ступни между камней, это не всегда удавалось, и два раза я больно шлепался о землю. Идти стало легче, когда я ступил на деревянный настил переезда. Первый рельс преодолел без труда. И тут предо мной возникло неожиданное препятствие: нескольких досок между рельсами не хватало, другие прогнили, в них зияли дыры. Для колес машин и телег это, вероятно, большой помехи не представляло, для меня же оказалось серьезной преградой. Я смело шагнул через образовавшуюся между досками «пропасть», удачно преодолел ее, но одна нога вдруг соскользнула в зазор между досками, и я повалился на бок. Поднявшись, я легко вытащил ногу из щели, но в ней застряла моя галошка, соскользнувшая с валенка.

Я знал, что мама будет очень недовольна, если я вернусь домой без галоши. Их прислала маме из Москвы подруга, и они были страшным дефицитом. Я уселся на рельс и стал сосредоточенно вызволять галошу из плена.

Однажды мне уже довелось легкомысленно поступить с другим подарком маминной подруги. То были непромокаемые ботинки с плоской подошвой, которые можно было натягивать на детские туфельки. Как-то мама взяла меня с собой на речку, куда ходила полоскать белье. Мальчишки, игравшие на берегу, пускали по течению кораблики. Мне тоже хотелось пускать кораблики. Я снял ботинки и поставил на воду. Они быстро поплыли, сносимые к центру реки, и скоро скрылись из виду. На вопрос мамы, где мои ботинки, я захлопал в ладошки и радостно прокричал: «Поплыли, поплыли!» Мама осела на землю и заплакала.

Я не хотел, чтобы мама опять плакала, и выковыривал галошу до тех пор, пока не достал ее. Затем стал натягивать ее на валенок.

Вдруг я ощутил страшную боль в руке. Кто-то дернул за нее с такою силой, что я, пролетев над рельсами, шлепнулся в нескольких метрах от них прямо на придорожную шлаковую насыпь. В момент падения я слышал резкий гудок дрезины и грохот проносающихся мимо колес. Придя в себя, увидел над собой лицо незнакомого небритого мужчины.

Первые мои слова: «А где галошка?»

— Ты чё, мужик, какая галошка, я тя токо что от наезда спас, еще б секунда и тя, как червяка раздавило б!

Дрезина, переехав место происшествия, резко затормозила и остановилась, машинист подбежал с выпученными от страха глазами.

Увидев, что я живой, он выругался и спросил небритого:

— Твой что ли?

— Не, я мимо проходил.

— Во, бля, родители пошли, алкоголики, за детьми совсем не глядят. Я б такого, коли б мой был, так бы вздул...

Он выругался еще крепче и пошел назад к дрезине.

Я опять спросил: «А где галошка?»

Мы нашли ее между рельсами целой и невредимой. Только теперь я почувствовал боль в ушибленной спине и разодранных ладонях.

Спасителя звали дядя Паша. Оказалось, что мама с дядей Пашей знакома, он когда-то чинил у нас водопровод. Она не знала, как дядю Пашу благодарить, куда посадить и ни за что не хотела отпустить его так просто, без гостинца. Он смущенно отказывался. Тогда мама вспомнила, что у нее заначена бутылка водки.

— Вот это пойдет, — сказал дядя Паша, засунул бутылку в карман брюк, потрепал меня по волосам и заспешил.

Он работал неподалеку и порой захаживал к нам. Заявлялся днем в рабочей одежде, играл со мной, называл крестником. Ходил он, прихрамывая, а одна щека у него подергивалась. Родом он был из-под Дмитрова и поэтому не окол, как наши и не говорил «пясок» или «смятана».

Мама угощала дядю Пашу оладьями, пирожками, иногда ей удавалось уговорить его отобедать с нами. Однажды за обедом он вдруг спросил:

— Генриховна, а может у вас, это самое, есть грамм сто?..

Оказалось, что есть.

Теперь дядя Паша, что называется, зачистил. У мамы на такой случай всегда были припасены водка или портвейн. Отец считал, что мама поступает неправильно, но не препятствовал ей.

Случалось, дядя Паша пропадал на многие недели. Как-то раз после долгого отсутствия он впервые пришел к нам сильно пьяный и с порога попросил водки. Сидя за кухонным столом, весь в синяках, он стал зло и крикливо ругать свою жену Фроську, которая, мол, с самого начала, только и думала, что гулять-блядовать, со своим любовником навела на него клевету, упекла в тюрьму, да тут через месяц война грянула, он в штрафной батальон угодил, один из всего батальона уцелел, потом контуженный больше полугода в госпиталях провалялся. Фроська к нему приезжала, простить ее, суку, умоляла, и он простил, вернулся к ней после войны, хоть и инвалидом, новую избу своими руками поставил, но она опять за свое, теперь вон на автобазе работает, деньгу зашибает, ушел он из дома, живет один, снял в чужой избе угол, она и детей не стыдится, своих шоферюг прямо в дом водит, один из них его, дядю Пашу, недавно избил до бесчувствия, собственные дети его презирают, да и люди тоже, одни только, мол, мы, Веберы, его в дом свой пускаем, ведь мы ему вроде родни, — все ж, как-никак, если б не он, дядя Паша, Вовке б сейчас и на свете не быть... При этих словах он заплакал и попросил еще выпить. Мама налила ему полстакана, но больше дать отказалась.

Подобные сцены стали повторяться. И хотя мама водкой запаслась, визиты дяди Паши стали ее тяготить. Наконец, она ему заявила, что хотела бы видеть его у нас дома только трезвым.

— Это значит, видеть вы меня больше вовсе не хотите. Трезвым-то я теперь не бываю.

Отец предлагал дяде Паше устроить его в вечерний техникум, где преподавал, но тот на подобные предложения лишь снисходительно улыбался и в конце любого разговора просил на водку. Порою его находили мертвецки пьяным в зарослях бурьяна около серого камня.

Как-то раз он явился, еле держась на ногах, в сопровождении еще двух таких же пьяных водопроводчиков. Мы жили на первом этаже, и дядя Паша, постучавшись к нам в окно, громко и на «ты» обратился к выглянувшей из окна маме. Красуясь перед своими друзьями, он просил денег на водку для всей компании. На его голос стали открываться окна других квартир. Мама рассердилась и, ничего не ответив, захлопнула окно и задернула шторы. Между тем, дядя Паша не унимался: перебравшись на крыльцо, кричал что-то о людской неблагодарности, обращался к прохожим, рвал на себе рубаху. Собутыльники стояли поодаль и ухмылялись.

Спасла положение тетя Настя, наша соседка. Коренастая, жилистая, как мужик, она взяла дядю Пашу за шиворот и решительно скинула его с крыльца. Тот шлепнулся о землю, стал мерзко ругаться и, уходя, погрозил тете Насте кулаком.

Прошло много лет, я был уже в девятом классе и как-то стоял в очереди в продмаге, где за одним прилавком продавали продукты и водку. Как всегда в подобной ситуации я о чем-то размышлял и почти не замечал происходящего.

Вдруг кто-то дернул меня за рукав, да так, что я чуть не вылетел из очереди. Передо мной, улыбаясь беззубым ртом, стоял небритый пожилой человек, одетый, несмотря на жару, в рваную фуфайку.

— Помнишь, как я тя из-под дрезины выдернул? Ты тогда полехше был, а теперь, смотри, какой вырос, оперился... Вовка, али не узнаешь? — Не узнаю... Дядя Паша, что ли?..

— Во, люди, — обратился он к окружающим, — во, что сделало со мной светлое будущее, во, как потрудились надо мной кипучая-могучая, — даже челаэк, которого я от смерти спас, не сразу меня признал...

— Это водка над тобой потрудилась, — пропищал какой-то худенький чистенький пенсионер из очереди.

Дядя Паша в его сторону даже не посмотрел.

— Думаешь, Вовчик, я этому бывшему стахановцу отвечать стану? Ни сил, ни времечка у меня не осталось на таких мудозвонов. Как ты-то, как мать с отцом?..

Я рассказал, что мы давно уже переехали, живем по другому адресу, что старшие братья — студенты, а я старшекласник.

— Сам еще, значит, не зарабатываешь. А я уж хотел у тебя пару рубликов стрельнуть, не хватает мне тут...

Я дал ему три рубля, сказал, что больше не могу, а то не хватит на покупки.

— А мне как раз три и нужно, — обрадовался дядя Паша.

Он схватил трешку и стал протискиваться к продавщице:

— Катя, белую головку!

Очередь шумно запротестовала, но Катя рывкнула:

— А ну тихо, а то отпускать прекращу! — и выдала дяде Паше четвертинку. Он тут же, при всех, отпил половину, постоял с минутой молча и вдруг сказал громко, чтоб все слышали:

— Вот ведь что получается: я те жись спас, ты должен бы передо мной на коленях стоять, а все наоборот. Я копейку у тебя прошу, вроде как бы за доброе дело унижением расплачиваюсь... Вот ведь устроено как...

— Бога не гневи! — с укором сказала пожилая женщина в деревенском платке.

— Бога? А что он мне, Бог-то твой, где был он, Бог этот, когда меня в штрафбат упекли? Когда я по госпиталям мучился, где он был? Или когда меня, инвалида, за кражу одной буханки в лагерь отправили? Если б не амнистия, сидеть бы мне там и сидеть...

Из репродуктора, висевшего под потолком и никогда не умолкавшего, грянул в исполнении хора гимн Советского Союза. В те дни его исполняли днем по несколько раз — шла спартакиада народов СССР.

— Может, скажешь, этот дядя Степа и кореш его Регистан, и гимн их холуйский — тоже от Бога? Ты ведь, наверняка, Лебеда-Кумача с «Отче наш» вперемежку поешь, те ведь один хрен, что петь. Вовка, ты посмотри только на них, — он обвел рукой стоявших в очереди. — Посмотри на хари эти, неужто они от Бога?

Очередь возмущенно загудела, требуя вызвать милицию, мужики разъярились и стали наседать на дядю Пашу. Назревала драка.

Я оттеснил его к выходу и буквально вытолкнул на улицу.

— Ты где живешь? — спросил я дядю Пашу.

— На кладбище, у сторожа в пристройке сплю. Слушай, крестник, пойдем ко мне, покалякаем. Ведь мы с тобой толком никогда еще и не говорили, маленький ты был...

— Вот только, Вовчик, — признался он, торопливо допивая четвертинку, — угостить мне ты нечем, прикончу щас бутылочку эту — и все, дома у меня пусто, ни закуски, ни вина, ни чая, одни мертвецы.

Я дал ему все оставшиеся деньги. Он скрылся с ними в другом магазине и вскоре вышел оттуда с авоськой, в которой была буханка черного хлеба, несколько банок консервов, две луковицы, бутылка портвейна и бутылка водки.

— Ну, устроим теперь пир, ты уж прости меня, что я в магазине паясничал, это я для них... Тебя я так приплел, для красного словца...

Мы расположились на дальней окраине кладбища среди старых могил. Многие надгробия были выворочены и сложены в штабели. Их использовали для новых могил или растаскивали для тротуаров перед домами: на кладбище с разных сторон напирали жилые бараки соседнего совхоза.

Дядя Паша сбежал в сторожку, принес небольшие стаканчики и чистую рогожку, накрыл ею одну из плит с выбитыми на ней именем, званием и датами: 1857–1918 — надгробье местного священника.

— Тут при кладбище раньше часовенка была, местные ее на кирпичи растаскали, «христиане» хреновы. Сколько живу, все только и слышу: народ святой, народ святой... А как кирпич воровать, так сразу и алтарь раздрючат. Тот большой собор на Церковной горе тоже ведь под улюлюканье толпы порушили! Хуже нет бывшего мужика, что пролетарием стал, душе его совсем держаться не за что. Поди, спроси вон ту очередь в магазине, чё они знают про дедов своих, — ничё не расскажут. Э-э-э... голи перекатной все нипочём. Бабу-то свою я тоже из пролетарок взял, всё ей трынтрава. Всю жизнь мою покорежила...

— Как они сейчас, твой-то, знаешься с ними?

— Дочки замужем, а жена с другим, не знаю теперь уж, с которым по счету. Дочек, когда их мужей дома нет, наведываю, они

мне чуток помогают. Жена назад зовет, обещает, что этого, своего, выгонит, коли вернусь. Посмотрел я на нее, на что она мне теперь, чучело старое. Я уж лучше тут с мертвецами...

Он налил мне полную стопку. Я сказал, что водки еще не пробовал.

— На Руси первая чарка как второе крещение. Когда-нибудь все равно начинать надо. Без этого — пропадешь. Вот я, к примеру, не умел, поскольку из староверов, не научили меня в детстве. В жизнь, можно сказать, незакаленным вступил — вот и спился. Не доверяют трезвенникам у нас: не пьет, — стало быть, скрывает чё-то, правду сказать боится. Говорят же, чё трезвый не скажет, то пьяный развяжет.

— Значит, и ты сегодня в магазине сказать такое побоялся бы, если бы трезвый был?

— А что такого я там сказал, — так, верхки... Если б я до кошечек добрался, они б меня точно поколотили. Ничё, дождутся еще всей правды... Ох, дождутся!.. А пока пусть думают, с пьяного спрос, что с дурака. Только пьяным-то я, Вовчик, бывал, но головы не пропивал. Наоборот, — когда пил, всё про себя приговаривал: чарка вина да прибавит ума...

Назад дядя Паша отвез меня на попутной телеге. Мы простились у серого камня.

— А говорил, больше здесь не живешь?

— Не могу же я домой в таком виде явиться, заночую у тётки Насти, у той, что тебя с крыльца спустила, помнишь?

Он поморщился.

— Дядю Пашу повстречал, — сказал я тётке Насте, едва стоя на ногах. — Вот напасть-то! — воскликнула она. — Ну что вы, тетя Настя, он мне жизнь спас. И он такой несчастный.

Тетя Настя испуганно меня перекрестила и уложила в постель. Долго терла мне уши, чтобы, как она уверяла, кровь к голове прилила и наутро голова не болела.

— Вот только хлеба и молока я для дома не купил, все пропил, — промямлил я, засыпая.



## Первый класс

Когда учительница улыбалась, обнажались десны цвета клубничного желе. Когда она сердилась и кричала, они становились фиолетовыми, как чернила.

Я втягивал плечи и старался не смотреть ей в глаза. Чувствовал, что она пытается поймать мой взгляд, начинал ерзать, тербил тетради, бесцельно рылся в парте. Еще секунда, и у нее на шее вспыхнут крапивные пятна, она провизжит мою фамилию и мне придется взглянуть на нее, на ее налитые чернилами десны. Она заметит у меня на лице брезгливое выражение, начнет кричать еще громче и, пока не выкричится, не успокоится. За несколько недель хождения в школу я привык к ее крику, у меня уже не кружится, как вначале, голова, лишь появляется тошнота, с которой я легко справляюсь.

Сегодня она возмущена тем, что я не постригся наголо, как это было предписано в первые годы после войны всем мальчикам начальных классов, а оставил на лбу маленькую челку.

— Останься после уроков, — приказала учительница.

Я боялся, что она будет меня стричь огромными канцелярскими ножницами, всегда лежавшими у нее на столе.

Она строго спросила:

— Ты почему так постригся?

— Мне же не в армию!

— Ты уже сейчас должен готовиться стать солдатом.

— Папа говорит, что войны больше не будет. Я не хочу быть солдатом.

— Что ты такое говоришь! Ты же немец. А немец всегда хочет быть солдатом. Может, ты не хочешь быть русским солдатом?

Я молчал.

— И кто тебе такое внушает? Отец, мать, братья?..

У нее в голосе появились высокие нотки; я знал, она вот-вот перейдет на крик, и весь сконцентрировался на вырезе ее платья, на большом крапивном пятне, наблюдая, как оно темнеет.

Через неделю родители перевели меня в другую школу. Новая учительница жила в квартире при школе, у нее был свой огород и хозяйство. Задав нам урок, она убегала покормить то кур, то корову. Часто возвращалась в класс, не сняв фартука. Меня она называла вихрастиком и заставляла декламировать стихи из отрывного календаря.

## Густав

Дом у дороги, в котором мы по возвращении в Карабаново поселились, был старым и нуждался в постоянной починке. На капитальный ремонт его не ставили, латали то там, то здесь. На лестнице вечно пахло известкой и олифой.

Ремонтировать нашу квартиру назначили дядю Федю Агафонову, пожилого штукатура из фабричного СМУ. Мы знали его по прошлому ремонту и полюбили за добродушный нрав.

В этот раз он пришёл к нам без предупреждения. Родителей удивило, что своего помощника он не представил. Мама протянула руку первой, назвала себя по учительской привычке Эмилией Генриховной. Тот ответил на рукопожатие не сразу, с задержкой, словно не решаясь:

— Ланг.

— Густавом его зовут! — буркнул дядя Федя. Стало ясно, что его помощник — военнопленный немец.

Пленные в Карабаново жили в бараках кирпичного завода на окраине города. На работу и с работы мимо наших окон они проходили строем и под конвоем. На некоторых еще была немецкая форма. Остальные были одеты во что попало.

Дядя Федя разговаривал с Густавом односложно и преувеличенно громко, словно с глухим. Часто ему приходилось прибегать к усиленной жестикуляции.

Густав был моложе дяди Феди, но тоже далеко не юн. Высокий, тощий, с робкой сединой в русых вьющихся волосах, костистое от худобы лицо, под темными бровями — большие глаза. Не помню их цвета, помню только, что именно глаза больше всего выделялись на лице.

На время обеда дядя Федя своего подручного куда-то увел. Они долго не возвращались, и у нас было время обсудить ситуацию. При разговоре присутствовала тетя Настя, соседка, жившая с нами в одной квартире. От неё у нас секретов не было.

— Уверен, — сказал отец, — это провокация. Я эти их штучки знаю. Прислать военнопленного в дом к нам, состоящим на спецуче-

те, — тут нужна особая санкция. Мы с мамой уже совершили ошибку, первыми протянули ему руку. Он не должен понять, что мы немцы. Уверен, что у дяди Феди будут расспрашивать, общались ли мы с Густавом и на каком языке... Может быть, у него есть даже задание следить за нами. Старшие братья посмотрели на меня, словно к ним сказанное не относилось — мол, единственный, кто мог не осознавать серьезности положения, был я. Мне тогда не было ещё и восьми.

Тётя Настя уважала отца за образованность и почтительное к ней отношение, прощая ему даже атеизм. При словах о дяде Фёде она недовольно насупила брови, но ничего не сказала. Дядю Фёдю она знала с детства. Пока он воевал, умерли его жена и дочь, зять с фронта не вернулся. Теперь он один растил внучку, забрав ее из детдома. Сильно богомольным, как тётя Настя, он не был, но по Великим праздникам составлял ей компанию в её поездках на церковную службу в Александров и даже во Владимир.

Один раз, когда дяде Фёде что-то никак не удавалось Густаву объяснить, он не выдержал:

— Слушай, Миля Андревна (так он для простоты называл маму), переведи ему, ты же учительница.

Мама сделала вид, что не слышит. Дядя Фёдя лишь ухмыльнулся.

Вскоре ремонт закончился, и мы с облегчением вздохнули.

Был конец августа, и мама с утра надолго уезжала покупать для нас школьную форму, учебники, тетради. В её отсутствие неожиданно явились дядя Фёдя и Густав, чтобы кое-что доделать. На этот раз дядя Фёдя оставил Густава работать одного, пообещал скоро вернуться.

Как мама зашла в квартиру, мы за своими занятиями не заметили. Обвешанная авоськами и свертками, она опустилась на ковер и по-немецки сказала:

— Как же я устала! Всюду очереди. Форму я вам так и не купила, завтра вместе поедем примерять.

Сидя на ковре, она стала распаковывать покупки, опять же по-немецки что-то рассказывая, но, не услышав реакции, вопросительно взглянула на нас, стоявших над ней как вкопанные и с открытыми ртами.

— Что-нибудь случилось? С папой?

Мы молчали, наши взгляды были направлены поверх ее головы к противоположной стене комнаты. Она медленно, с опаской оглянулась. В проёме двери с мастерком в руке стоял изумленный Густав.

— Откуда вы знаете мой диалект, у нас во всем лагере никого, кто на нем говорит?..

Мама приложила палец к губам, и он осекся, но остался стоять на том же месте, тараща глаза. Она вскочила, открыла входную дверь, вышла в общий коридор, обошла первый этаж, взбежала на второй, проверила, не работает ли там дядя Федя. Его нигде не было. Вернувшись в квартиру, заперла дверь изнутри, но, спохватившись, тут же опять её отперла.

— Вам страшно? — спросил Густав.

— Да, — ответила мама.

Он ушел в комнату, где работал, оставив дверь в неё открытой, и мама начала объяснять ему через стенку, кто мы такие, почему мы здесь, а он рассказывал о себе. Дядя Федя все не приходил, и они успели поговорить о многом.

До войны в своем маленьком городке под Дармштадтом Густав был булочником-кондитером, там у него остались родители, жена и двое детей, но о них он уже почти семь лет ничего не знал, писать и получать письма ему не разрешалось.

Его речь была, действительно, похожа на мамину. Он выговаривал слова так, словно был её братом, а мы знали, что у мамы на Урале жили четверо братьев, которых мы никогда не видели и приезжать которым к нам запрещалось. Как объяснить, что этот совсем чужой человек, бывший враг, которого до сих пор приходится бояться, говорит на языке мамы?

Пришел дядя Федя и увел Густава, сказав, что завтра они придут опять, хотя было непонятно для чего, — работа у нас была закончена.

Папа находился в командировке в соседнем Киржаче и должен был вернуться только на следующий день к вечеру.

В первые минуты после ухода Густава мама как-то суетливо и бестолково бродила по дому, рассеянно переставляя предметы на стеллажах и комоды, покупки свои так и оставила лежащими на ковре, даже распаковывать до конца не стала. Потом долго стояла у окна, смотрела на исчезающую в сумерках пыльную дорогу. Когда стемнело, она молча сидела на диване, сложив на коленях руки, невпопад отвечая на наши расспросы. Но вот на её лице проступило знакомое нам благостное выражение, а вскоре и улыбка, правда, странная — словно она улыбалась самой себе.

Наконец, она поднялась и, всё так же улыбаясь, попросила, чтобы мы сами собирали на стол и ужинали, а сама пошла печь пироги.

Мама любила печь. У неё всегда был запас муки и дрожжей, но на этот раз их не хватило. Магазины уже не работали, и она попросила тетю Настю поскрести по сусекам. Ни нам, ни тете Насте она ничего не объясняла. Да та ни о чем её и не расспрашивала, лишь выразила сомнение, успеет ли тесто дойти к ночи.

— Значит, буду ночью печь, — ответила мама весело.

Каждый из маминых пирогов имел своё время, был приурочен к календарному или семейному празднику. Но был один пирог, который мама пекла круглый год, чуть ли не каждый месяц, а то и чаще, — пирог с посыпкой, или, как у нас называли, с посыпушками, наипростейший, для которого ничего не надо, кроме муки, молока, одного-двух яиц, немного масла, сахара и соли. Мама старалась его разнообразить фруктовой начинкой. Я же любил и люблю до сих пор самый простой вариант, без начинки. По утверждению моей бабушки Терезии, все хлебные запахи и нюансы хлебного вкуса заложены в самом пшеничном зерне, надо лишь дать им проявиться. Кроме выпечки, мама в ту ночь готовила и трудоёмкий немецкий обед, и мы перед сном помогали ей раскатывать скалкой тесто для лапши и разрезать его на длинные тонкие полоски.

Когда на следующее утро дядя Федя, приведя к нам Густава, опять куда-то заторопился, стало ясно, что он пользуется Густавом для прикрытия, сам же убегает «халтурить». На то, что мама при нем вдруг заговорила с Густавом по-немецки, он никак не прореагировал, — лишь сказал, втянув воздух носом:

— Во как настряпали, аж краску перебивает, — но от угощения отказался: — Некогда.

Густав сначала стеснялся идти на кухню. Его, как он позже признался, особенно смущало мамино «вы». За всё время плена никто к нему так не обращался.

Тетя Настя налила в граненный стакан чаю и подала его Густаву на глубоком блюдце.

— Я испекла то, что у нас дома готовили, — сказала мама, — подумала: раз выговор у нас такой похожий, может, и готовят у вас по-нашему. Узнаёте?

Густав долго ни к чему не прикасался, только всё разглядывал. Взгляд его неизменно возвращался к пирогу с посыпушками в центре стола.

— Штройзелькухен, — сказал он тихо.

— У нас его называли ривелькухен, — ответила мама.

Он ел медленно, откусывая от пирога маленькие кусочки и глядя в пространство, словно что-то вспоминал. А затем у него полились слезы, и он вытирал их рукавом комбинезона. «Если расскажу в лагере, что ел сегодня штройзелькухен, товарищи подумают, что я начинаю сходить с ума, у нас уже со многими такое случалось».

Вдруг он сказал:

— У вас пахнет свежим тестом.

Мама подтвердила:

— Я с утра новое поставила. — И сдернула с таза, стоящего на скамейке у стены, полотняное полотенце.

— Хотите сами попечь — плита еще горячая?

Густав посмотрел на маму недоверчиво, словно не поверил собственным ушам или подумал, что над ним подшучивают.

— Да я серьёзно, это же я для вас тесто ставила, — солгала мама.

Он нерешительно протянул к тесту руку, оторвал кусочек, помял, положил на язык, потом уверенно сказал: «Ему надо ещё капельку постоять».

— А вы можете пока печь из простого, пресного, — предложила мама.

В один миг Густава облачили в фартук тёти Насти. Засучив до локтей рукава комбинезона, он попросил ножницы, которыми коротко остриг ногти, вымыл руки с мылом и сполоснул раствором уксуса. Пересмотрел всю мамину и тети Настину утварь: ножи, ложки, доски, скалки, миски, противни, сковородки. Проверил тягу в духовке. Продукты разложил в определенной последовательности.

Хотя его движения были неторопливыми и обстоятельными, мы видели, что он волнуется. Но вот он начал действовать — уверенно и с поразительной быстротой. Пока подходило тесто, готовил из воды и сахара глазурь, а из сметаны и сахара — крем из замешанного наскоро теста, пек лепешки, пончики, пирожки — всего понемножку. Самые первые — давал пробовать нам, детям. При этом шутил, рассказывал смешные истории из своей пекарской жизни.

Когда тесто доспело, стал печь плюшки, крендели, а по просьбе мамы — луковый пирог. Испек бы еще и яблочный, но был март и все зимние яблоки давно уже были съедены.

В обед мама кормила Густава постным супом с домашней лапшой, на второе — клецками с тушеной капустой.

Дядя Федя всё не возвращался, и мама решила показать Густаву, как собирается раскрасить побеленные стены большой комнаты. В миске разводится синька, берётся кусок шерстяной или хлопчатобумажной ткани, плотно свёртывается в форме ролика и окунается в краску. Легким коротким накатом на стену наносится пятно — орнамент. Красивей всего получается, когда чередуются два-три рисунка и располагаются в определенной последовательности. Густаву это техника покраски была знакома, и он предложил:

— Давайте я буду наносить один рисунок, а вы другой.

Чтобы сделать рисунок под потолок, Густаву достаточно было лишь протянуть руку вверх, маме же приходилось вскакивать на табурет. Внизу ловчее была мама. Они работали быстро, словно наперегонки. Вскоре вся комната была разукрашена.

Сделав последний накат и держа на весу напитанную синькой тряпку, Густав счастливо улыбался.

С тряпки на голое плечо мамы, переодетой для работы в трикотажную мужскую майку, капнула краска и потекла медленной струйкой вниз по руке. Ладони мамы и Густава были в синьке. Густав оглянулся вокруг и, не найдя ничего, чем бы мог вытереть мамину руку, наклонил голову и, поймав языком струйку, стал медленно слизывать краску от локтя до самого плеча. Пока он не слизал её всю, мама руки своей не отняла, глядела оцепенело на его жидкие кудри. Потом схватила миску с синькой, поднесла ко рту Густава и потребовала:

— Сплюньте, а то отравитесь!

Но Густав мотнул в знак несогласия головой и сглотнул слюну.

Вернувшийся отец совсем не удивился ни беседующей с Густавом весёлой маме, ни огромному количеству пирогов. Глядел на происходящее с выражением фатальной неизбежности.

Когда пришел дядя Федя, мы все сидели перед пытящим самоваром в комнате тёти Насти.

— Давно бы так, — сказал дядя Федя и вынул из-за пазухи поллитровку. — Вкусно пахнут твои караваи, Андревна, да только водке они не компания. Настя, вынь-ка огурчики с грибками.



## Ночная гостья

Многим теперь известно, что немцы СССР осенью 41-го по высочайшему указу в кратчайший срок были выселены за Урал. Но мало кто знает, что после войны в 1948 году их пребывание в местах ссылки повторным Указом закрепили «навечно». Выезд из этих мест без особого разрешения МВД, даже посещение расположенного в десяти километрах соседнего села, карался каторжными работами сроком до 20 лет.

Моему отцу повезло. Каким-то чудом или в результате ошибки чиновника, не знавшего географии, ему удалось из трудармии в Северном крае демобилизоваться по месту последнего довоенного проживания во Владимирскую область, в крохотный городок Карабаново, и забрать туда семью. Под прикрытием здешнего царька, директора комбината, нуждавшегося в отце как в специалисте и явно нарушавшего предписание Отца народов, мы жили в постоянном страхе, что ошибка обнаружится и нас в наказание спровадят куда-нибудь на Чукотку. У мамы на этот случай всегда были заготовлены дорожные вещи, чай, сухари, сахар, соль, спички.

На улице мы друг с другом по-немецки старались не разговаривать. Только дома. О судьбе родственников ничего не знали. Подавать в розыск боялись. Не хотели привлекать внимание.

Однажды морозной мартовской ночью в дверь постучали. Тихо, нерешительно. Первая реакция мамы:

— За нами пришли!

Отец сказал:

— Так они не стучат, — и пошел открывать.

— Кто там?

— Это я, Фрида... Фридахен...

На пороге в полумраке прихожей, виновато улыбаясь, стояла молодая женщина с крохотным чемоданчиком, та самая тетя Фрида, которую мы, дети, раньше никогда не видели и о которой по рассказам мамы знали, что она ужасно легкомысленная.

В объятиях мамы она заревела и затараторила:

— Еще немного и я бы с ума сошла, — так мне хотелось всех вас увидеть. Как узнала, что вы живы и где живете, места себе не находила, знала, что не выдержу, сбегу!

— Сумасшедшая, тебя поймают, посадят.

— Я все устроила. У меня отпуск. Никто не знает, что я уехала. Соседка — у матери в деревне. В милиции у меня знакомый, он обо всем знает. Если будут проверять, он меня выгородит, обещал. Поживу у вас с недельку, никуда из дома выходить не буду, так же ночью на попутке до станции доберусь.

Четыре часа утра. Хорошо помню то свое ночное детское чувство. Смесь радости и ужаса на фоне страшной тайны, отделившей вдруг нас от всего остального спящего вокруг мира, тайны, непостижимой ни для кого на свете, даже для нас самих.

Мы уходили на работу, в школу, тетя Фрида оставалась одна, старалась не приближаться к окнам, не шуметь, никому не открывала, ждала нас. Когда мы были дома и приходила молочница или соседка, тетя Фрида пряталась в кладовке.

Пока она жила у нас, умер Сталин. Всенародное горе глядело в окна траурным флагом на фасаде фабрики, вторгалось в дом скорбной музыкой из уличного репродуктора.

По вечерам тетя Фрида забиралась к маме в постель, и они долго шептались. Дверь в комнату была открыта, и мы засыпали под их шепот.

Но тем вечером перед ее отъездом они лежали обнявшись и молчали. Я думал, что они уснули. И вдруг я услышал голос тети Фриды, поющий тихо-тихо, словно кому-то на ухо. Я не разбирал слов, только слышал, что слова немецкие. Мелодия была грустной, но звучала совсем не печально. А потом я услышал голос мамы, более низкий, чуть запаздывающий за мелодией, как бы вторящий ей.

Первый раз я слышал, как мама поет по-немецки.

## Тётя Настя

Каждое воскресенье и по престольным праздникам она ездит в Александров на службу во вновь открытую там церковь — единственную во всей округе, а также по несколько раз в год на исповедь, на ее языке «на говение». Апокрифические рассказы о деяниях святых почитает не менее самого Писания, да, собственно, она их от него и не отделяет, — добавляет свою фантазию, начиная суевериями детства.

Верит в приметы, загадывания. Например, что если сорока прилетела под утро к дому, то обязательно жди гостей. Как ни странно, эта ее примета почти всегда сбывается. Знает много чудесных и «жутких» историй, происшествий, которые якобы случились в ее жизни или в жизни тех, с кем была знакома.

Добрые силы в её рассказах не всегда побеждают, что вызывает мой протест, и тогда тетя Настя воскрешает героя, обрызгав его живой водой. Знает тетя Настя и массу загадок, пословиц, заговоров, заклинаний, вот только петь не умеет, слушать любит, но сама никогда не поет. Даже в застолье не подпевает.

В её комнате на комоды и подоконниках — стопочки маленьких книжечек, ещё царских, с цветными картинками, с рассказами о житиях Святых и мытарствах души, на стенах образки, деревянные крестики, в плетеных и жестяных коробочках — просфорки от прежних посещений церкви. Она хранит их долго, по году, употребляет понемногу, размачивая кусочки в святой воде. Над божницей и рядом — пучки пахучей травы. В одном из углов почти под потолком березовый банный веник. Когда он выпаривается, тетя Настя использует его для подметания, а в угол вешает новый.

Она редко гневается, никого не судит, даже богохульников. Про все плохое говорит:

— Искушение это нам.

Не помню случая, чтобы кто-то из нас пренебрежительно высказался о ее набожности. Мы лишь подтруниваем над ее суевериями. Когда в грозу она тревожно крестится и молится, мы смеемся и объясняем, что всё это только физика.

Она обучает меня церковнославянским буквам, узнав же о моем православном крещении в Сибири, принимается просвещать уже без сомнений. Грамоте она выучилась в доме александровского купца и фабриканта Первушина, где с детства прислуживала. Когда к купеческим детям приходил учитель, Насте разрешалось заниматься вместе с ними.

И хотя нам в школе внушается совсем иное, тексты из ее книжек слушаю с трепетным интересом. Лишь сожалею, что ее неофициальные и такие притягательные праздники нельзя отмечать столь же открыто и со всеми, как Первое мая или 7-е ноября. Тёте Насте подобные параллели не по душе:

— Вот поедем на Пасху или на Троицу к Сергию в лавру, увидишь, что такое праздник.

Она была нашей единственной соседкой по квартире. Считалось, нам сказочно повезло, не в казарму-спальню угодили, не в избушкой частный сектор, а в ведомственный двухэтажный кирпичный дом на восемь семей, с теплым общим туалетом на каждом этаже, с печными плитами и водопроводом.

По причине полного согласия между нами и тётёй Настей называть наше жильё коммуналкой не поворачивается язык. Подружившись с первого дня, мы жили, по сути, одним семейством. Тёте Насте принадлежала отдельная комната, где нашлось место для железной узкой кровати, небольшого комода, платяного шкафа, стола, сундука, а также красного угла с иконой.

Ребенком я целые дни проводил с тетей Настей, глядел, как она варит в медном тазу на керосинке малиновое варенье, слушал ее рассказы. Или мы вместе наблюдали из ее окна, как на корм, высыпанный ею из форточки на карниз, налетали красногрудые снегири и желтые овсяночки — мир я начинал познавать из окна тети Насти.

Все звали ее Анастасией Карповной, только для нас она была тётёй Настей. Выросшая в деревне Лукьянцево под Александровым, она вышла замуж за белоруса, жила долго в гомельском Полесье. Три первых года войны провела в оккупации. Муж умер еще в тридцатые, сын, призванный в армию в сороковом и прошедший через все фронты невредимым, остался на сверхсрочной, служил теперь на Дальнем Востоке.

Белорусская деревня тётки Насти сгорела. Оставшись без крова, она подалась с другими погорельцами на восток, навстречу своим. Прячась ночью и днем по лесам, добралась до освобожденной зоны.

Факт пребывания в оккупации не имел для нее особых последствий. В анкете после возвращения на родину в январе 1945-го написала: жила в оккупации в деревне такой-то, сын — на фронте. В родном селе, где она поселилась в семье брата, никому в голову не приходило ставить ей в упрек годы, прожитые при немцах. Только в 1947-ом, когда она перебралась к нам в город и устроилась на работу в столовой комбината, спецотдел заинтересовался ее прошлым подробнее, стал таскать на допросы, но все в конце концов уладилось — сыграли, видимо, роль военные заслуги сына и его офицерский чин.

В ее белорусском доме два с половиной года квартировали три немецких штабиста. Двое были родом из Риги и понимали по-русски. Один из них был православным. Поэтому, когда выяснилось, что её новые соседи в Карабаново тоже немцы, она никак не удивилась. К звуку немецкой речи она привыкла, а в то, почему мы здесь и что нас сюда занесло, не вникала. Пережив несколько войн, террор, разорение церквей и деревни, она отучила себя давать окончательные оценки страшному настоящему, воспринимала все как судьбу, как неизбежность, через которую надо пройти, не теряя достоинства и чести, настоящей же жизнью была для нее жизнь в вере.

...Год начинается с весны. Ростепель — предвестье. Первый весенний воздух, таяние сосулек, золотые капли. И, наконец, самая ранняя, но уже настоящая весна. Ручейки, плывущие чурочки, кораблики из коры, запах колесного дегтя, винный запах от сосновых досок старых сараев. На реке бьют лед для ледников — для большого городского, потом — каждый для себя, у кого изба или рядом с домом сарай. Ледоход, ветлы, утопленные высокой водой, черные полыньи и вороны над ними. Когда подсохнет, мажут лодки смолой, выносят на припек матрасы, тулупы, пальто, телогрейки. Помню свою замороженность быстрым движением весенних ручьев, а по вечерам — неподвижностью, когда они, замерзая, останавливались, словно по мановенью. Тетя Настя поясняла: тому, кому они повинуются, тоже хочется кое-когда поспать.

Ранняя весна — это тёти Настин пост, если он попадает на вторую половину марта. На подоконнике у неё ящик с зелёным лучком, посаженным загодя. Перед постом она посещает всех знакомых, просит простить ее за прегрешения. Для нас в этом ритуале какая-то странность, нелепость, а потому загадочность: какие у тёти Насти могут быть грехи? Но слова «Прощеное Воскресенье» звучат, как музыка.

Сухари для поста она сушит недели за две, больше черные, на постном масле, в доме потом долго стоит дух жареного хлеба. Накануне поста идет в баню и проводит в ней чуть ли не целый день. На Чистый понедельник одевается во все праздничное и так ходит весь день.

Пост — это и наш вдруг преобразившийся городской рынок, куда меня водит тётя Настя. Яблоки, клюква, брусника, крыжовник — моченые, солёные, засахаренные, подмороженные. От капусты дух резкий квашенный, от огурцов душистый укропный. Соленая с маринадом репа, грибы сушеные, соленые. Пирожки с луком, с изюмом. Медовые пряники, варенье. Приезжие азербайджанцы продают соленые арбузы. В мамином детстве на Волге они были зимой ее любимым лакомством. Но нам они не нравятся. Мама обижается.

Для Вербного воскресенья тётя Настя нарезает вербу заранее, ставит в бутылки на подоконник, чтобы сережки к сроку пушистее стали, золотистее. Стоит верба в бутылках после освящения в церкви долго, многие недели. Время от времени тётя Настя срывает одну из сережек и жуёт, не знаю, почему, — то ли освященная, то ли полезная.

Пасха — праздник, который празднуют все, даже родители. Хотя и тайно, закрыв двери. Случается, что немецкая Пасха и русская выпадают на одну и ту же неделю. Мама тоже печет кулич — остеркухен. В отличие от остальной ее выпечки он почти такой же, как тёти Настин. Яйца красят в разные цвета, но больше в «луковый». Всюду по городу на земле скорлупки. Многие рабочие христосуются открыто, чего бояться — не библиотекари, не учителя.

Церкви в Карабаново нет, сломали еще в конце 30-х, верующие ездят на Пасху ко всенощной в Александров. В автобусах мест не хватает, ходят за восемь километров пешком. Возвращаются под утро, до обеда, поэтому на улицах затишье, затем по окраинам и окружным деревням начинается гулянье.

Вскоре после Пасхи — Первое мая, мой любимый праздник. Музыка, бумажные цветы, красные флаги, первые пикники. Тётя Настя на демонстрацию не ходит. В этот день, даже если солнце и тепло, ей почему-то всегда нездоровится. Вспоминает, как однажды ее барину-фабриканту рабочие забастовку объявили — а как раз заказчики издалека приехали, не могли долго товар забрать.

Двойные рамы выставляются поздно, холода могут нагрязнуть и в начале мая. День, когда их наконец выставляют — один из самых счастливых. Значит, скоро лето.

Вначале все ненадолго бело от черемухи, потом подходит неторопливый период сирени. На Троицу в домах над дверьми и под потолком нарезанные ветки березы, ходят в лес за березовым соком, еще неделя, а там — и лето в разгаре.

Хотя и город, но повсюду пахнет сеном, на окраинах у всех коровы, у многих лошадки, все косят. С теплом появляются цыгане, разбирают табор в широком овраге в двух километрах от города.

Летом о тётё Насте я почти забываю, захлестывает свобода от школы, детские игры и другие бесчисленные удовольствия, тётя Настя напоминает о себе праздником Преображения.

Считалось, что лето кончается в начале августа, на Илью Пророка, ночи темнели, дни укорачивались, вода в речке резко холодела, но мягкий август длился долго, распространяя яблочные дүхи.

Яблоки, много яблок, к тётё Насте их несут и несут, она их с радостью раздает дальше, для неё они — плоды Спаса, Преображенья. Грустное время — скоро в школу...

Если сентябрь теплый, лето продолжается, разводим костры, печем в поле картошку. Перед первыми ночными заморозками мочат антоновку, рубят капусту, засаливают огурцы, зеленые помидоры. Настя ходит к подруге помогать и берет меня с собой. Торопятся: скоро дожди зарядят, дороги размокнут, над домами закурятся дымки, мама и тётя Настя начнут чуть ли не каждый день печь пироги, и мы будем чаевничать все вместе долгими вечерами.

Главное событие в эти хмурые дни — праздник Октября, торжественные собрания, школьные концерты. Для тёти Насти этого праздника словно не существует. Я к тётё Насте в комнату не заглядываю, сержусь на нее. Хожу мимо ее дверей и громко пою «Смело товарищи в ногу...»

Между рамами у тёти Насти ветки рябины. Огонь ягод делает хмурые дни светлее. Задолго до Рождества все завалено снегом.

После приезда бабушки и переезда на новую квартиру у нас тоже справляется Рождество, бабушкино немецкое Рождество, оно всегда первое, прежде тётки Настиного. Бабушка редко улыбается. Ее церковь где-то далеко-далеко, в каких-то заволжских степях, всеми брошенная, заколоченная.

Тётя Настя приходит к бабушке на Рождество из уважения — ее Рождество еще впереди, 7-го января, сейчас она держит пост, а у нас рыба, жареная щука, но бабушка специально для тётки Насти постные булочки испекла, накладывает ей капустки. Все мирно, с обоюдным почтением. Тетя Настя лишь удивляется: у нас, православных, в Сочельник так сытно не едят, разве что кашу, сайку с чаем.

Для папы с мамой главный праздник — Новый год. Красная звезда на елке, празднуют шумно, зовут гостей. Рождественский дед перекочевал из Рождества в Новый год, тетя Настя называет его «товарищ Дед Мороз».

На Новый год она тоже ничего не ест, ее пост продолжается. Говорит:

— Вот на Старый Новый год душу отведу и рюмочку выпью.

На свое Рождество она мажет свечки медом, уверяет: у меда самый рождественский запах. На святки ходят ряженые с личинами, с бородами, огромными носами, парни румянят щеки, мажутся сажей. А там и крещенские морозы, купание мужиков в проруби, соревнуются, кто кого пересидит, после купания — кто кого перепьет. Катание с ледяных горок на санках, на коньках.

На масленицу у тётки Насти для всех нас блины, а за окнами гармошка, частушки, хохот, крики, матерная ругань.

Стучатся цыганки, предлагают погадать, тётя Настя их гонит, говорит, что в святки нагадалась.

Казармы-спальни устраивают между собой драки, «стенка на стенку». Старинный деревенский обычай, выродившийся в пролетарской среде в мордобой, на окраинах дерутся даже с кольями и цепями.

Перед Великим постом пьют безбожно. Самое несчастное время для комбината. Прогулы, опоздания. Но никого не увольняют, не сажают, как перед войной, мужская рабочая сила — дефицит. Настя пьяниц не любит. Когда при ней говорят: «если пьет, значит, мастер хороший», — поправляет: «как мастер — так пьяница, вот напасть то...».



Все увидено детскими глазами, но запечатлелось ярко — жизнь, о которой ни слова — ни по радио, ни в кино. Пережитки... Но что-то такое, значит, в них есть, в этих «пережитках», коли близкие тебе люди так ими дорожат, так их держатся...

Удивительно, но ни мама, ни отец, воспитанные в безбожии, не возражали против приобщения меня тётей Настей к религии. Будто не замечали.

Ежегодно на Троицу тётя Настя направлялась на богомолье в Сергиев Посад, переименованный в те годы в Загорск в честь большевика Загорского, человека незнаменитого. Никаких гор вокруг не было, но название для русского слуха было благозвучным и потому, наверное, быстро привилось. Никаких ассоциаций с образом Загорского у большинства не возникало.

Немного подросши, я напомнил тёте Насте об ее обещании взять меня когда-нибудь в лавру. Родители нисколько не возражали, хотя знали, что нам придется брести по сельским дорогам, ночевать неизвестно где. Человека надежней тёти Насти в их представлении не было. А та была чрезвычайно довольна, что родители не возражали. Оказывается, с давних времен для паломничества обязательно спрашивали родительского благословения.

Троица в тот год пришлась на самый конец мая. От Александра ехали на электричке, но сошли уже на следующей остановке в Струнино. Там — Преображенская церковь, в ней тётю Настю крестили. Постояли перед руинами, помолились. Тётя Настя тихо пела: «Изведи из темницы душу мою...». Я при этом думал: «У нее такая добрая душа, разве она в темнице...»

Затем опять сели на электричку. Когда проезжали Арсаки, тётя Настя, оглядевшись вокруг, полупшепотом рассказала, что в трех километрах отсюда была Зосимова пустынь, мужской монастырь, куда она тоже девочкой с купеческими детьми на богомолье ходила. «Там тепереча воинская часть. В кельях монахов солдатики проживают, храни их Господь». А Лукианову пустынь, что рядом с её родной деревней, куда она «сызмальства молиться ходила», в тюрьму превратили. Потому-то и не ездит она туда, «хошь и родина». «И перекреститься-то в её сторону страшно...».

Доехали до станции «Платформа 81-го километра». Оставшиеся десять километров до лавры предстояло пройти пешком. «Хоть немножко, но пяшком пройти надоть — а то какое ж это хождение к месту святому...», — приговаривала тётя Настя.

Мы идем, минуя околицы деревень, по полям, обрамленным лесными полосами, не отклоняясь далеко от железнодорожного полотна. Воздух горячий, густо жужжат стрекозы и пчелы, у обочины дороги расцветают первые ромашки, колокольчики, подрастает крапива. В лесу в полдень — напоенный жар, проникающий до костей. В березовой роще он пахнет травами, в сосновой и в ельниках — смолой.

Тётя Настя рассказывает мне про Сергия Радонежского, который жил давным-давно, тогда же и первые храмы в лавре выстроил и освятил, Богородица ему тогда явилась и он духом своим Русь от монголов освободил, а потом во все времена ее спасал, — там, в Троицком соборе мощи его лежат, люди к ним ходят, потому что рядом с ними молитва особенно помогает.

Советовала: — Если ты очень чяго желаешь, только, конечно, чяго душевного, например, помощи кому-нибудь или сябе самому, попроси Сергия, у яво мощей.

Учила: — Обращение к Святому надо начинать нараспев: «Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас».

Вблизи одной деревни в лесу она долго искала знаменитый родник, обязательно хотела попить из него. Потом хлестала себе ноги молодой крапивой, моча её в студеной воде, приговаривала:

— Теперь побягут, словно и не ходили...

Дорога была безлюдной. Тётя Настя обещала:

— Вот придем, увидишь, скоко там крященого народу. Все больше со стороны Москвы по Троицкой дороге на богомолье ходят, я тоже не один раз, в девках когда была, по ней ходила, а мы вот с тобой нонче с другой стороны к Сергию идем, — да рази не одно, откуда идти, важно Преподобного уважить.

На той, Троицкой дороге, вспоминала она, трактиры были, чай и постное предлагали.

— Ну ничё, скоро к Дарье придем, у нее и напьемся.

До Дарьи, свояченицы тети Насти, ее ровесницы, жившей километрах в двух от лавры в деревне Топорково, мы добрались ближе к вечеру. Лес кончился, солнце еще светило, издали виднелась колокольня монастыря.

Дарья уже ждала нас, самовар кипел, пахло сосновыми шишками, было жарко, и чай мы пили в саду. Со лба тёти Насти текли струйки пота, она утиралась большим полотенцем, но продолжала пить стакан за стаканом вприкуску с вареньем. Держа глубокое

блюдечко в левой руке на всех пяти растопыренных пальцах, она отдувала парок и громко схлебывала. Дарья пила не меньше. Было непостижимо, как в них столько вмещается.

Очень хотелось пойти ко всенощной, но меня сморило, и тётя Настя с Дарьей ушли одни. Я засыпал под дальние звуки благовеста.

Проснулся рано. Тётя Настя еще спала на кровати напротив, и я долго лежал молча, боясь ее разбудить, смотрел на освещенные первыми солнечными лучами деревянные доски противоположной стены, увешанные поблекшими бумажными цветами, вышивками и фотографиями, вслушивался в тишину. Ждал, когда в лавре прозвучит первый удар колокола, о котором знал от тётки Насти, что он самый главный, что он тон всему дню задает — всем другим колоколам и молитвам.

Дарья к обедне идет вместе с нами. По пути рассказывает, что даже в годы, когда лавра была закрыта, все равно люди шли сюда: постоят у монастырских стен, рукой их коснутся или приложатся, пучок травы нарвут и в котомку спрячут, сама видела. А кто и до Троицкого собора, минуя охрану, добирался.

Впереди маячит Троицкий собор с блистающими звездами на синих куполах, вырастая все больше и больше. При приближении к лавре много калеченых и убогих. Столько их сразу вместе я никогда еще не видел. У нас в городе тоже много инвалидов с обрубками рук и ног, едущих на маленьких платформах-колясках, но здесь и слепые, и хромые, и с язвами на лице, на глазах, на теле.

В медленно идущей к главному собору толпе несколько женщин, странно себя ведущих, крикливых, с диковатым выражением глаз.

— Эти выделяются, — говорит тётя Настя, — но многих болящих не распознаешь, они хоть сябя и тихо вядут, а душа у них болит, тоже исцеленья пришли просить.

Она заранее, еще дома, наменяла медяков, часть дала мне, чтобы раздавал просящим подавания, когда к храму подойдем. И еще поразило: много молодежи и женщин с детьми. Не так, как у нас в Александрове, где в церкви одни старики.

В соборе полумрак, самое яркое место вдали, у гроба Сергия, там больше всего свечей, откуда-то слышится хор, но, прислушавшись и присмотревшись, замечаю, что поют почти все. Кто тише, кто громче, не поют лишь те, кто продвигается в один ряд в очереди к раке. Вперед никто не протискивается, даже увечные ждут терпеливо.

Дошедший до раки прикладывается к стеклу над нею, потом крестится, священник, стоящий рядом, крестит его.

Я к раке решаю не идти, что-то мешает, какая-то внутренняя тревога, ощущение неготовности... Тётя Настя не настаивает.

На выходе из собора сталкиваемся с моей школьной учительницей пения. В Карабаново она носит волосы открыто, славится модными прическами, а сейчас повязана платком. Я здороваюсь, она испуганно вздрагивает, делает вид, что не знает нас и торопливо исчезает.

Когда думаю о том паломничестве, не могу отделить его от впечатлений более поздних. Повзрослев, я бывал в лавре много раз, да и в постсоветские времена приезжал, когда у монастырской наружной стены вновь закипела пестрая торговая жизнь. Но уже и тогда, в середине 50-х, многолюдно было и многоцветно: иконки продавали, кипарисовые кресты, туески, коробка, деревянные миски, кружки, ложки, шкатулки, платки, резные игрушки, и было много цветов и у ворот, и в самом монастыре. Березки внутри церквей и снаружи. У некоторых мужчин в нагрудных карманах ландыши. Стены монастыря запомнились мне в тот первый раз почему-то не белокаменными, а розоватыми. До сих пор, когда думаю о лавре, в памяти моей два цвета — розовый и голубой.

В тот день нам с тётей Настей почему-то постоянно хотелось пить. Она считала: «Это нас посадские родники к сябе зовут, распознали в нас жажду душевную».

Стоит перед глазами маленькая разноцветная часовенка, внутри бьет из-под земли источник. Был ли это тот самый, что в центре лавры, или какой-то другой, теперь не вспомню — в Сергиевом Посаде много чудотворных родников. То, что мы пили именно из того самого, маловероятно; говорят, он был замурован и власти, даже когда разрешили открыть монастырь, еще многие годы не позволяли размуровывать родник. Но в душе так запечатлелось: люди идут и идут к часовенке — через всю страну, за тысячи верст — попить живой водицы.

## Пятидесятые.

### Как жили, что ели, что пили, что пели...

Меня будит голос из радиоприемника. Медленно вслушиваюсь в слова диктора. После музыкальной паузы текст повторяют: Пленум ЦК КПСС разоблачил Лаврентия Павловича Берия как английского шпиона и ярого врага партии и народа.

Тот день, 10-го июля, был жарким, но с ветерком, в комнаты залетал запах цветущих во дворе лип. На кухне перед приемником сидели совершенно растерянные родители.

Позднее, взрослым, вспоминая эту сцену, я удивлялся, почему их так могло потрясти очередное «разоблачение» одного из вождей — их, проживших жизнь на фоне непрерывных партийных и административных чисток, смертных приговоров — их, переживших ссылку, лагерь, гибель большинства родных. Лишь начав реконструировать день за днём события четырех месяцев, прошедших со дня смерти Сталина, я понял, что люди прожили их в неизвестно почему и откуда появившейся уверенности, что навсегда минула опасность быть жестоко наказанным за поступки, кажущиеся наиболее естественными и разумными. Так в 1951 или 1952 году маму, учительницу немецкого, вызвали в районо и строго упрекнули: она, мол, слишком много времени посвящает разговорному языку, чуть ли не онемечивает учеников. У себя, в школе рабочей молодежи, она не заметила, что уже не один месяц по всей стране идёт кампания пропаганды пассивного знания языков, что преподавателям школ и институтов «настоятельно рекомендовано» побольше нажимать на грамматику и чтение со словарем.

Гражданам за железным занавесом разговорный иностранный был ни к чему.

Еще сонный, сажусь на колени к маме. «Сними сегодня же портрет в своем кабинете», — советует мама отцу, завучу ФЗУ.

Шок от ареста Берии быстро прошел. Чувство надежды возвратилось. Надеялись на небывалые урожаи, на чудеса самой передовой в мире науки.

Одновременно решались земные проблемы. Например, где найти дров для печного отопления. Уголь потребляли только на производстве. Дрова выписывали на комбинате, но их хватало лишь на половину зимы. Мы бродили по улицам и окрестностям, собирали брошенные деревяшки, вылавливали из реки бревна-топляки от распавшихся плотов, пилили их ручными пилами и сушили в поленницах до зимы.

Но в основном дрова воровали, спиливали потихоньку старые березы в лесу или выкорчёвывали пеньки на лесозаготовках. Самым простым было тащить дрова с лесоскладов. Нас, мальчишек, ловили, но чаще всего отпускали с угрозой сообщить в школу. Порой эту угрозу выполняли, и пионеров прорабатывали на собраниях. Осуждения эти «преступления» в сердцах учителей и одноклассников, однако, не вызывали — воровством дров занимались все поголовно. «На лес и поп вор», — приговаривал наш сосед Иван Ильич Алексеев, когда брал меня с собой рубить речной ивняк вдали от города.

Ходили слухи, что Берия выдал Западу много секретного, что он рыл туннель до Лондона и что американцы от него узнали про все наши военные базы.

Ученики в школе говорили Нине Карловне, учительнице немецкого: зачем нам теперь немецкий, нынешний враг говорит по-английски. Нина Карловна, дочь латышского стрелка, кричала в ответ, что немецкий язык — язык классиков марксизма и что тот, кто его выучит, легко одолеет любой другой, тем более какой-то там английский. Когда она нервничала, то роняла пенсне, у нее появлялся сильный акцент, с носа на классный журнал сыпалась пудра, а на лице проступали бородавки.

Наши преподаватели немецкого часто сменялись. Второй учительницей стала фронтовичка, она разучивала с нами на немецком песни военных лет, слова которых сама переводила на немецкий и заставляла это делать нас.

Третий учитель, прослуживший три послевоенных года в Германии, также прививал нам любовь к немецкому с помощью музыки, приходил на урок с аккордеоном. Он знал массу трофейных шлягеров: «Rosamunda», «Das blonde Käthchen», «Komm zurück», «In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine»... От него я впервые услышал «Lili Marleen» и даже делал попытки перевести ее на русский для нашего школьного эстрадного ансамбля.

В пионерский лагерь меня никогда не отдавали. Родители знали о моей антипатии к любым коллективным акциям и неумении постоять за себя.

Во всех городах, однако, даже в самых малых, имелся городской пионерский лагерь, куда дети приходили утром, а вечером расходились по домам, что-то вроде летнего детсада для школьников. Являться туда надо было рано утром в пионерской форме. Располагались подобные «лагеря» при городских клубах, пионеры либо играли в помещении в настольные игры, либо учились маршировать под барабан на клубном дворе. В конце концов, мои родители поддались увещаниям школьных педагогов, считавших, что полностью лишать меня атмосферы коллективного отдыха нельзя, что мне необходимо хотя бы две недели походить в этот самый лагерь.

В первый же день ко мне после утренней линейки подошел вразвалку рыхлый губастый дылда, взял мой галстук в свою большую лапу и, притянув к себе, приказал: «Ответь за галстук!» Я тогда еще не знал, что на это следует отвечать: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь, ее и так много пролито» или по-благному: «Не трожь селедку, она в масле», и попытался высвободиться, но он держал галстук крепко и сообщил: «Всем, кто не знает ответа, положено в наказание от каждого честного пионера по щелбану с «оттяжкой»». Меня отвели во двор, мальчики выстроились в очередь, чтобы соблности возникший еще в макаренковские времена обычай. Девочки стояли в стороне и с наслаждением наблюдали. Пионервожатый не обращал никакого внимания.

К обеду я был уже дома. Голова гудела, но я не плакал, не жаловался, мама ни о чем не спрашивала, кормила моим любимым молочным супом, картофельными клецками с творогом и виновато улыбалась. По тому, с каким выражением лица я снял галстук и закинул его в шкаф, она все поняла.

Советская власть в Карабаново за сорок лет своего существования успела построить лишь клуб и два-три многоквартирных дома для ИТР. Облик улиц определяли краснокирпичные фабричные казармы, деревянные бараки и избы с огородами и садами.

Не жившие в городах-текстильщиках средней полосы России вряд ли знают, что такое фабричные казармы, которые в народе называли просто «спальнями». Было ли это название официаль-

ным, не знаю, но когда я позднее прочел у Зощенко «Спи скорей, твоя подушка нужна другому», я воспринял его рассказ вовсе не как преувеличение, а как приметку вполне реальной жизни моих товарищей, — своими глазами видел, как сменяли друг друга на полатах члены их семей, работавшие в несколько смен. Таких сооружений, как наши «спальни», я потом нигде не встречал. Историки утверждают, что они были построены по специальному английскому проекту. Каменные двух- и трехэтажные строения длиной в сто и больше метров. В бесконечных коридорах узкие бесчётные каморки. Второй этаж разделяли две общественные кухни с огромными печами, духовками и шкафами, в которых держали чугунки и кастрюли. Общественные туалеты находились в торцовых частях здания. Печи топились снизу. В «спальнях» жили в основном рабочие комбината.

Картина города будет неполной, если не упомянуть о нескольких солидных зданиях дореволюционной постройки, где располагались администрация города и магазины, а также о разбросанных там и сям «купеческих» особняках. Так их было принято называть, хотя строились они в прошлом не только для купеческого сословия, но и для местной интеллигенции — врачей, юристов, учителей. Внешний вид их сохранился до нашего времени почти неизменным: кирпичный беленый или небеленый низ, бревенчатый верх, железная, крашенная зеленой краской крыша, мезонин с балконом. После революции в процессе «уплотнения» каждый такой дом был поделен на несколько квартир.

Внутри особняки строились в основном по одному типу: 4–5 жилых комнат, кухня, кладовая, парадная, вход в которую шёл прямо с улицы. На дверях колокольчик. Для своих — вход со двора.

В некоторых домах, принадлежавших начальству комбината, чьи дети были моими одноклассниками, проживало и по одной семье. Меблировка в этих домах оставалась часто той же, что и у бывших владельцев, ее десятилетиями не меняли. В самой большой комнате четыре окна, большая печь, выложенная изразцами, на полке лепнина. Здесь обычно стояли диван, рояль или пианино. В столовой — буфет, большой обеденный стол под абажуром, скатерть с тяжелой бахромой. На втором этаже — детская, спальня.

Было ощущение, что ты жил здесь когда-то, из этих комнат домов не хотелось уходить, не хотелось возвращаться в мир за окном с кривыми заборами, чахлыми тополями, гипсовыми дискоболками и лозунгами на выцветшем кумаче.



В каморках моих товарищей из фабричных казарм и бараков мебели не было, там царствовала рыночная живопись. Лебеди на воде, русалки, ракиты, замки, сивки-бурки, сцены оленьей охоты, лодки с сидящими в них полуобнаженными красавицами, каскады, водопады, медведи, диковинные рыбы, страусы, павлины, фиалки, ромашки, лютики. Живопись настенных ковриков изготавливали по трафарету, коврики в большинстве своем — бумажные, недолговечные. Когда они истрепывались, их заменяли новыми.

Маме тоже захотелось украсить наше жилье чем-нибудь «красивым» и она заказала у одного художника из ссыльных, ведшего в городском клубе кружок ИЗО, несколько копий с картин Шишкина и Перова. Он выполнил их с блеском, и многие годы они украшали стены нашей квартиры. Они нравились мне даже больше, чем оригиналы в Третьяковке.

В 1947 году отменили карточную систему, объявили денежную реформу, старые рубли поменяли на новые из расчета десять к одному. О реформе объявили заранее. Многие кинулись покупать, что попало. Ездили на московские и владимирские барахолки. В квартирах наших соседей и знакомых потом еще долгие годы стояли бесполезные нелепые вещи, поражавшие мое детское воображение.

Начальные 50-е запечатлелись обилием всего китайского: пижамы, байковые рубашки, кеды, зонтики, махровые полотенца, термосы с драконами, теннисные мячи, авторучки с золотым пером, чай. Вспоминается папино китайское плащ-пальто и мамина «книжечка» рисовой китайской пудры.

На комодах в домах школьных товарищей из «хороших» семей — вязаные салфетки, слоники, модельные фанерные шкалулки, вырезанные лобзиком и покрашенные лаком.

В промтоварных магазинах разнообразие фарфоровых статуэток: школьники в формах, школьницы в белых передниках, кудрявые мальчики с мячиком, суворовцы и нахимовцы, танцующие полонез, пограничники с собаками, пловчихи, балерины, пастухи со свирелью, собаки, орлы, лебеди, голуби.

С «оттепелью» пошла мода на хрусталь: на тяжелые, напоминающие послевоенную сталинскую архитектуру, граненые вазы, пепельницы, графины.

Другая сфера вещей и предметов определялась как трофейная: велосипеды, бинокли, барометры, фотоаппараты, карманные

фонарики, бензиновые зажигалки, портсигары, дорожные фляжки, перочинные ножички фирмы «Золинген», чертежные доски, готвальни, опасные и безопасные бритвы, компасы, духовые инструменты, аккордеоны, наручные часы, часы на цепочке, бижутерия, береты, кожанки, портфели, полевые сумки, чемоданы, пафетоны, пластинки, открытки, картинки-сводилки.

Кстати, о чемоданах. Тогда у многих еще сохранялись чемоданы старинные — фибровые, обитые металлическими пластинами и уголками; они стояли в кладовках рядом с советскими — картонными и деревянными. В дорогу предпочтительнее было брать именно эти последние, дабы не привлекать воров и не вызывать у попутчиков классовой ненависти.

У 50-х свои запахи. Женщины пахли «Красной Москвой» и «Красным маком», мужчины — «Шипром» и «Тройным одеколоном».

Моя учительница музыки, семнадцать лет проведенная в тюрьмах, лагерях и ссылке, уверяла, что «Красная Москва» — духи еще дореволюционные и что раньше они назывались «Букет императрицы»; пока она сидела, им придали, мол, более интенсивный, по ее выражению, «шербетный» запах.

Говорят, в странах народной демократии «Красная Москва» стала отличительным признаком советских женщин, ею благоухали жёны офицеров и так называемых «специалистов».

У меня же 50-е наряду с духом бабушкиных и маминых выпечек ассоциируются с хозяйственным мылом. Им стирали, с ним кипятили, добавляя хлорки, белье, им мылись в бане. Существовало, конечно, и туалетное. Борис Пастернак, декларируя близость к народу, писал в январе 1941-го, что «потомство» обдавало его на лестнице метро «черемуховым свежим мылом», но то было до войны, к пятидесятым осталось, кажется, одно земляничное. И еще дегтярное — от прыщей.

Позднее основательный запах хозяйственного сдал свои позиции ароматам более тонким, поколение твиста пахло чешским шампунем.

В конце 60-х годов, женившись на москвичке, я поселился в квартире ее родителей. В комнате, которую нам выделили, стоял старинный рояль фирмы «Ивановский». Инструмент этот моя теща, поволжская немка, привезла после войны из Астрахани, — единственная ценность, спасенная из фамильного достояния. На нем учили ее саму, на нем она обучала дочерей, не проявлявших к сему занятию особого рвения.

Я, тоже учившийся в детстве и юности музыке, тогда фортепьянных упражнений еще окончательно не забросил, и это обстоятельство было последним аргументом, способным оправдать героические тещины усилия по вызволению рояля из чужих рук и транспортировке его на теплоходе в Москву, а также пространственный террор, коему рояль подвергал членов семьи. Представьте ее разочарование, когда она поняла, что и я решил оставить свои экзерсисы.

Инструмент занимал треть нашей с женой комнаты. Для двуспальной кровати места не оставалось, и я спал порой на полу под роялем.

Однажды мы взбеленились. Мы — это тесть, свояченица, моя жена и я. Выступили, что называется, единым фронтом. И теща сдалась.

Прежде чем предлагать инструмент покупателю, его следовало настроить. Крышка рояля годами не открывалась, была завалена нотами, книгами, папками, альбомами. Высокие тона звучали неестественно темно и глухо.

Отыскивали настройщика. Звук рояля ему тоже показался более чем странным.

Мне выпала честь поднять тяжелую крышку. В поднятом виде она вздымалась почти до потолка, деля пространство комнаты на две части. Только теперь все осознали, в соседстве с каким мощным предметом жили многие годы.

Открывая крышку, я настроился увидеть в утреннем инструменте золотистые царские вензеля. Мой взор, однако, ожидало зрелище куда более экзотичное: внутри, где только возможно, оказались аккуратно уложенные бруски темно-бурого хозяйственного мыла.

Словно не доверяя глазам, настройщик потрогал один из брусков.

— Зачем они здесь? — спросил он серьезно.

Я также без улыбки ответил:

— Для большей чистоты звука.

Вернувшаяся домой теща эмоций не проявила: — А я и забыла о них.

Тут она вспомнила, что мылом заполнена и подрояльная полка. А потом повела меня в кладовку, куда я никогда еще не заглядывал. На верхних стеллажах располагались целые мыльные штабеля, — «остальные на даче».

Всю войну теща прожила в Москве. Была замужем за русским, поэтому в 1941-м ее как немку не выселили. С должности преподавателя немецкого языка Военной академии ей пришлось, однако, уйти, и она устроилась сортировщицей на склад промтоваров.

Заведующий складом за сверхурочные расплачивался с рабочими мылом. В военные и первые послевоенные годы оно было чем-то вроде валюты, его всегда можно было обменять на продукты и вещи. Торговать теща не умела, мыло скапливалось на «черный день». Со временем этот род накопительства перерос у нее в настоящую «мыльную» манию. Даже уйдя со склада, она продолжала приобретать мыло, покупая его на рынке за деньги, полученные за сдаваемую периодически донорскую кровь. Однажды купила на Инвалидном рынке увесистый брикет и горько плакала, когда обнаружила, что он оказался камнем, политым сверху слоем мыла.

Цена мыла с денежной реформой 1947 года резко упала, но выбросить его запасы теща так и не решилась. Будущему она не доверяла.

На каждом из брусков крупно выдавлен год выпуска: 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947. Особенно завораживала цифра 1944, год моего рождения. Тяжелый землистый цвет мыльного бруска казался цветом самой вечности.

В детстве и юности словно не замечаешь, что ешь, на чем спишь. Многие детали тогдашней жизни отпечатались, однако, в памяти по контрасту с нашим собственным бытом.

Когда бывал в семьях друзей в бараках и казармах, замечал разницу. Каша, селедка на оберточной бумаге, вареная картошка с постным маслом, соленые огурцы, квашеная капуста, брага, самогонка. В праздники — винегрет. Масло держали в воде между двойными оконными стеклами или в сетках, висящих за окном на шпингалетах.

У тех, кто жил в собственных избах с огородами или кто имел живность, быт был покрепче. Здесь в погребе держали запасы, а у кого и ледники свои были. Но и здесь питались незатейливо. И в готовке не изощрялись. Сало, щи, каша, холодец, та же квашеная капуста, квас.

Магазины в Карабаново не отличались изобилием, мясо можно было купить лишь на базаре, так же как и молоко, овощи, ягоды, соленья, сушеные грибы.

У нас на плите и в духовке постоянно что-то варилось, тушилось, парилось или пеклось. Мама работала в вечерней школе и с раннего утра успевала всего наготовить. Соседка тетя Настя тоже вносила свою лепту. От нее я узнал русскую кухню в большем многообразии, чем из посещений школьных друзей. К тому же, она многому научилась за годы жизни в Белоруссии, и теперь, когда я вспоминаю о ее стряпне, не могу точно сказать, белорусские или русские то были блюда, все эти окрошки и свекольники, эти пюре из брюквы и репы, подававшиеся с медом и со сметаной, морковные запеканки, сырники, пирожки, блины, куличи и медовые пряники. Знаю только, что тюря из кваса, черного хлеба, лука и тертой редьки, а также картофельные драники — точно белорусского происхождения.

С приездом моей бабушки ассортимент кушаний у нас в доме еще больше расширился. Именно бабушка определила мои кулинарные пристрастия на всю жизнь. Та же селедка у нас готовилась с соусами: с горчично-уксусным или сметанным, поверх сельди клали ломтики лука, при сметанном соусе — нашинкованное яблоко или нарезанные мелко соленые огурцы. Супы — молочный, фасолевый, гороховый, овощной, с домашней лапшой. Куриный бульон с манными клецками. Галушки с картошкой, с творогом, картофельный салат. Мясо в виде котлет, голубцов или фальшивого зайца. Штрудели, пироги, крепели, топф-нудли. Основа почти всех блюд — мука, картошка, овощи. Еда у меня поэтому до сих пор связана с варением, тушением, выпечкой и меньше всего с жареньем. Всегда предпочту шашлыкам и антрекотам рубленые котлеты или кёнигсбергские клопсы, приготовленные на пару, с молочно-мучным соусом, заправленным репчатым луком, а на гарнир картофельное пюре и тушеную капусту.

У тети Насти на керосинке все лето варилось варенье, от таза с варившимися ягодами шел жаркий запах. Бело-розовая кипящая малиновая пенка вспучивалась, готовая перелиться через край. Тетя Настя собирала ее в отдельную керамическую миску, чтобы потом чаевничать со мной вместе, намазывая пенку на ломоть белого хлеба.

Ржаной домашний квас, основное летнее питье местного населения, водился и у нас, бабушка и тетя Настя делали его каждая по-своему. Но и у той, и у другой он был терпким, темным, пузырился, шибал в нос и не сластил, как тот, что продавался в городе в железных цистернах.

Вкусовые соблазны были и вне дома. Газированную воду с клюквенным или малиновым сиропами мы пили литрами. Сиропы у нас в Карабаново были особенно дешевыми, так как производились подсобным хозяйством комбината. Но главное лакомство — мороженое. Мороженщица с большим передвижным ящиком в центре города казалась феей из сказки, а пар от искусственного льда — одним из аксессуаров волшебницы. Белый шарик мороженого она клала деревянной ложкой на маленькую круглую вафлю, второй вафлей искусно придавливала шарик, белоснежная пористая масса выползала за края вафель, тыльной стороной ложки мороженица выравнивала поверхность, а излишек бросала обратно в ящик. Получалось колесико — его удобно было лизать по окружности. У некоторых мороженщиц процесс был механизирован, они клали вафельки в уже готовые жестяные формочки-крутляши и заполняли мороженым полое пространство между ними.

Я никогда не страдал гландами и мог съесть любое количество без страха заболеть. Но я искренне боялся, что у меня, как у толстяка из стихотворения Маршака, посинеют уши, вырастет сосулька на носу, а на затылке снежный ком. Это заставляло меня сдерживаться. Каждый раз, съев недозволенно много, я ощупывал затылок — первое в моей жизни свидетельство магической силы слова.

Мода до середины пятидесятых мало менялась с конца тридцатых — начала сороковых годов. Мамины московские подружки носили сшитые на заказ шляпки с вуалью. Фасоны шляп они заимствовали из фильмов десятилетней давности.

Из одежды детских лет помню байковые шаровары поверх валенок с галошами; мамины короткие ботики на кнопках, надетые на туфли. Помню ещё бурки из белого фетра, которые носил директор комбината Карпов: края голенищ оторочены кожаной лентой, носок и пятка тоже из кожи. На отце и старшем брате, как и на большинстве мужчин, войлочные полусапожки черного цвета по прозвищу «Прощай молодость», на резине, с застежкой-кнопкой или с молнией.

Многие донашивали военную форму: вылинялые гимнастерки, военные кители без знаков отличия, френчи, галифе, офицерские сапоги. Начальство комбината и начальство районное предпочитало кожаные пальто с воротником из каракуля и каракулевые шапки. На портретах вождей преобладали бекеша и «пирожки».

Как-то отец принес новость, что скоро, как до революции, повсюду будут вводить униформу. До этого униформа сохранялась лишь у военных, милиционеров да у швейцаров гостиниц. Но вот она появилась на моем старшем брате, студенте-горняке, на железнодорожниках нашей станции, на служащих прокуратуры. Кажется, именно после введения униформы фронтовики постепенно перестали носить свои старые кители и гимнастерки.

Незадолго до начала оттепели в первой половине 50-х на экран вышел индийский фильм «Бродяга». Внешний вид героя очень напоминал нищее послевоенное поколение. «Авара хум», — пел Радж Капур, — «Бродяга я-а-а-а..., никто нигде не ждет меня-а-а-а-а...». В те годы по всесоюзной амнистии неожиданно выпустили из тюрем и лагерей тысячи уголовников, и они по манере одеваться на воле очень напоминали индийского Бродягу, но потом и среди старших школьников пошла мода на затасканные пиджачки большого размера, словно с чужого плеча, на просторные брюки, фуражку набекрень. Слово «стиляга» я впервые услышал уже в 1954 году, еще до появления рок-н-рольных стиляг.

Все советские стиляги  
Помешались на «Бродяге».

Стилягами тогда называли всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся из общей телогреечной массы. Например, тех, кто носил вещи, сшитые из трофейной ткани, или щеголял пряжками на ботинках.

Ко второй половине 50-х внешний вид людей начал резко меняться. Платья стали сильно приталенными, носочки яркими, каблук туфель росли все выше. Старшеклассницы стали ходить в парикмахерскую, делать укладку, начес. Косички, собранные в «корзиночку», носили только на занятиях в школе, где строго запрещались даже входившие в моду прозрачные чулки. Наша директриса устраивала ежедневные утренние проверки.

Затем, откуда ни возьмись, возникли настоящие стиляги, совсем не похожие на тех первых, приклатенных. Казалось, будто наши карабановские стиляги утрируют московскую моду: коки на темени больше, чем даже у тех, которых изображали в журнале «Крокодил», брюки уже, толще подошва туфель, шире плечи пиджака, цвета галстуков ядовитее. Стиляги их часто раскрашивали сами.

Комсомольские активисты бритвами резали стилигам брюки. Те, кто был из рабочих, еще многие годы держались рабфаковской эстетики тридцатых годов: «стрижка под Котовского», «полит-прическа». После войны к этому прейскуранту добавился «зачёс Кошевого».

Без кино тогдашнюю жизнь представить невозможно. Мои сверстники и я в буквальном смысле не вылезали из кинотеатра. Смотрели всё подряд: советские комедии, картины про войну, фильмы-спектакли Малого театра, но чаще всего — «трофейные» ленты. Одни и те же трофейные фильмы крутили до начала 60-х, и я имел возможность многие из них пересматривать на разных этапах своего взросления. Имена актеров и авторов обычно не назывались, не было и сведений, где, когда и на каком языке снималась картина. «Девушку моей мечты» Георга Якоби с Марикой Рёкк в главной роли мы видели раз сто. Никто и не подозревал, что фильм создан в Германии в 1944 году. Мы даже не знали поначалу имени актрисы. Наиболее фривольные кадры, заснятые с экрана фотоаппаратом, распространялись потом по городу. У меня до сих пор некоторые сохранились.

Через много лет, подрабатывая на «Мосфильме», я узнал от одной пожилой костюмерши, что большая часть реквизита студии УФА была в качестве трофея привезена в Москву, в том числе и гардероб Марики Рёкк, и что Инна Макарова, игравшая Любку Шевцову в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова, исполняла свой танец перед немецкими офицерами в платье Рёкк из «Девушки моей мечты». Сергей Герасимов в разговоре со мной с усмешкой подтвердил:

— Я не единственный, кто воспользовался «реквизитами» этого фильма, у Александрова в «Весне» Орлова бьет чечётку на том же полу, что и Рёкк, он снимал «Весну» в том же павильоне, что и Якоби.

С «Девушкой моей мечты» мог конкурировать только «Тарзан» с Джони Вейсмюллером. Наш учитель физкультуры, в прошлом спортсмен-пловец, помнил в подробностях о довоенных победах Вейсмюллера, до своей голливудской карьеры завоевавшего в различных видах плавания пять олимпийских медалей и установившего 67 мировых рекордов. Он сам водил нас на просмотры и объяснял достоинства телосложения Тарзана. Только занятие



плаванием могло, по его мнению, создать такую идеальную мужскую фигуру, в которой не было ничего от плебейской мускулистости боксеров и тяжеловесов-штангистов.

Школьники устраивали в окружавших наш город лесах что-то наподобие джунглей, раскачивались на веревках, как на лианах, подражали прыжкам Тарзана с дерева на дерево.

Среди «трофейных» фильмов было немало довоенных американских и английских. Более современные американские и английские ленты в провинции показывали редко. Для того, чтобы их посмотреть, надо было ехать в Москву. Теперь известно, что существовала специальная резолюция отдела пропаганды ЦК, предписывавшая трофейные немецкие и итальянские картины 30-х годов показывать широким экраном, а фильмы английские, французские и, прежде всего, американские — закрытым, то есть в ведомственных клубах и Домах культуры. Посчитали, что последние опаснее. Видимо, из-за возникшего уже тогда интереса к Америке и ее образу жизни.

Из немецких лент вспоминаются приключенческие «Индийская гробница», «Робин Гуд», а также музыкальные о Шуберте, Моцарте, Шумане, экранизации оперетт, опер с Джили и Карузо. Сильнейшее впечатление на нас, мальчишек, производили ленты «Охотники за каучуком», «Восстание в пустыне» и «Трансвааль в огне». В них играли потрясающие актеры, убедительно разоблачавшие вероломных капиталистов, порабитителей буров. Сталину в начале холодной войны фильмы эти пришлось очень кстати.

Для нашей семьи трофейное кино с субтитрами было подарком судьбы. Мы жили в полной изоляции от живого немецкого языка. Звуки немецкой речи с экрана казались чем-то фантастическим. Сейчас не вспомню, какие из фильмов шли с субтитрами, но даже и в дублированных, если пели, то чаще всего по-немецки. Однажды я в который раз пошел на фильм «Петер» с Франциской Галь и, пробираясь в темноте зала к свободному месту, вдруг увидел свою бабушку Терезию. Я знал, что она предпочитает смотреть кино в одиночестве, но не догадывался почему. Сейчас я тайком наблюдал за ней и не узнавал ее. Моя очень религиозная, перешедшая в сибирской ссылке из лютеранства в баптизм и поэтому не признававшая никакого светского пения **Großmama** подпевала героине фильма слова знаменитого танго «*So schön, wie du, so lieb, wie du...*».

Знакомство с книгой началось с рассматривания картинок в старинной немецкой книжке, чудом уцелевшей в довоенной родительской библиотеке. Читать по-немецки я тогда еще не мог, книжку читала мне мама. Я очень жалел детей, о которых там рассказывалось. Им по утрам не хотелось вылезать из-под теплых перин, так как в комнатах было холодно, и они вынуждены были торопливо одеваться, и это при несметном количестве пуговичек, застежек, пряжек, крючков, лямочек и подтяжек. Я объяснял этот холод их бедностью и жестоким воспитанием и чувствовал себя невероятно счастливым в своей жарко натопленной комнате. Лишь много позже я узнал, что раньше в немецких домах, даже самых богатых, в спальнях не было печей, они отапливались воздухом из других комнат, которые топили с вечера, спали же под пуховыми или просто перьевыми перинами в чепцах и длинных рубахах. Когда мороз на улице усиливался, детям клали в постель грелки.

Из русских книжек первые впечатления — от Пришвина. Обязательное чтение: «Динка» и «Васек Трубачев и его товарищи» Осеевой, «Белеет парус одинокий» Катаева, повести Гайдара и Кассиля. В них действовали находчивые дети, которые наряду с нормальными детскими радостями еще и находили время помогать революционерам, прятать их от царской полиции или бороться с оккупантами. Они прекрасно сочетались с героями книг Жюль Верна, Купера и Майн-Рида, с персонажами из сказок разных народов, издававшихся в те годы в невероятном количестве, с рассказами про шпионов и доблестных пограничников в сопровождении верных джудльбарсов защищавших советскую границу на протяжении всех ее 60 000 километров. Шпионская тема в литературе о детях-героях доминировала, сменив тему партизанскую. В «Родной речи» для пятого класса одно из стихотворений заканчивалось так:

Есть в пограничной полосе  
Неписанный закон:  
Мы знаем все, мы знаем всех —  
Кто я, кто ты, кто он.

Но в школе с самых первых дней была обязательна и классика: к тринадцати-четырнадцати годам школьник уже прочитывал «Руслана и Людмилу», «Дубровского», «Капитанскую дочку», «Тараса Бульбу», «Миргород», «Шинель», тургеневские рассказы,

лучшие стихотворения русских поэтов. Классика в школьной программе — один из главных «просчетов» власти. Ее влияние сравнимо лишь с влиянием классической музыки. В тысячах музыкальных школ по всему Союзу сотни тысяч детей учились по «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» и, дойдя до «Хорошо темперированного клавира» и первых хоралов, впервые слышали имя Сына Божьего, входили вместе с Бахом в христианские воды. Тут власть явно не досмотрела, сама санкционировав подготовку этих «агентов вечных ценностей», мечтавших послушать когда-нибудь в будущем вживую «Страсти по Матфею».

Рядом с нашим домом было женское общежитие. Его обитательницы приезжали по вербовке из других городов или деревень и работали на комбинате прядильщицами и ткачихами. Те, что наезжали из других городов, мало чем отличались от женщин из фабричных казарм. Сквернословили, к любви относились по-деловому.

Девушки из деревень, в основном из средней полосы, мне нравились больше. Новое окружение и трехменная работа в конце концов сказывались и на их манерах, но эти были мягче, стыдливее. Мужчин в городе было во много раз меньше, чем женщин, «половой вопрос» был неразрешимой реальностью, в праздники девушкам ничего другого не оставалось, как самим водить хороводы.

К этому времени даже в деревенских хороводах уже почти выхолостилось их бывшее лирическое содержание: заигрывание, ухаживание, выбор невесты. Они превратились в пляски по кругу, и лишь некоторые девушки помнили хороводные припевки. Но все же по кругу двигались по традиции плавно, без скачков.

Хоровод водили недолго, быстро переходили к Елецкому — танцу, распространенному в среднерусских областях: под звуки гармошки в одиночку и парами шли с частушками вдоль собравшихся с притопом, с дробью. Это своего рода разговоры, переключки, даже споры, особенно между соперницами. Сначала выступала вперед одна и вызывала пением другую. Порой с круга по два часа не сходили. Пытались друг дружку переплясать, перепеть.

Частушки редко были непристойными. Какая-нибудь, конечно, пыталась подстроиться к городским традициям, где перемешались фабричный, блатной и просто хулиганский фольклор, но откровенно похабные частушки, какие сейчас поют даже со сцены, не решался в те годы спеть при всем народе даже мужчина, если не был совсем уж конченным человеком.

Часто после хороводов небольшая группа девушек усаживалась с гармонистом на лавочке перед общежитием, и каждая пела свою песню, привезенную из родных мест. Как чудно было их слушать после однообразных и примитивных мелодий частушек! Пели по отдельности, подпевали же с подголосками. Никогда после я уже не слышал такого свободного, органичного русского пения.

А из уличных репродукторов лились современные песни: Мокроусов, Новиков, Лепин, Соловьев-Седой. После долгих лет засилья бодрых маршей то в одной, то в другой песне вдруг стала пробиваться исконная русская интонация.

В репертуаре нашего школьного эстрадного оркестра они преобладали, легко уживаясь с западными шлягерами и репертуаром Ива Монтана. Оркестр состоял из фортепьяно, трубы, баяна, гитары, домры, бас-балалайки и трех старинных барабанов. В таком составе мы замахивались даже на Глена Миллера.

С раннего детства хотелось путешествовать, страстно. Уже посещения соседнего Александрова становились событием, не говоря уже о поездках по окрестным городам и селам в составе детской футбольной команды.

С середины пятидесятых каждое лето родители обязательно брали меня с собой в отпуск или посылали погостить к родственникам — то на Волгу, то к Черному морю.

И все же главные впечатления — поездки в соседнюю Москву, чаще всего с отцом в его короткие командировки с ночевками у знакомых или в гостиницах.

Наиболее волнующим было приближение к Москве на электричке. Загадочные названия станций Перловская, Лось, Лосиноостровская, Северянин, люди, стоявшие на платформах дачных станций и полустанков или входившие в вагон, по-другому одетые, по-другому говорящие, по-другому пахнувшие. О, это чувство ожидания вступления в солнечный мир столицы! Казалось, сама электричка движется от заряда этого чувства, ускоряя свое движение навстречу Москве.

В лучезарных московских зданиях, устремленных шпилями вверх, должны жить необыкновенные люди. Вот они проезжают мимо нас в ЗИСе 110, им некогда, они делают очень важные дела, им не до нас. В Москве всегда чисто, всегда радостно, улицы с утра политы. Милиционеры в белых кителях и фуражках. Москва — это праздник.

Перед входом в пивные — вывески с красным раком и кружкой пива в клешне. Мастерские с загадочными названиями Велюр, Плиссе и Гофре. У перекрестков улиц и входов в метро торгуют пирожками и мороженым, сидят в высоких будках крючконосые чистильщики обуви, толпятся люди у афишных тумб и киосков «Мосгорсправки». Перед продовольственными магазинами продаются фруктовые соки, они льются из перевернутых стеклянных конусов, укрепленных на вращающейся подставке.

Из всех станций метро самая поразительная — «Новослободская». В массивных мраморных пилонах — подсвечиваемые витражи с орнаментами, как в моем детском калейдоскопе, на стенах — красные звезды, колхозные комбайны, сталевары, жницы, лаборанты, ученые, архитекторы, склонившиеся над ватманом, художники с мольбертами, пианисты во фраках. На панно в торце зала улыбается счастливая мать с ребенком на руках, ребёнок протягивает руки к лицу Сталина, изображенного в верхней части панно.

Ночью мне снятся пианисты в доменной печи, ученые в лопастях комбайна...

Отец часами бродил со мной по Москве, показывал места, где прошли его студенческие годы, водил в музеи, на детские спектакли в театры.

Чаще всего ночевали в гостиницах, но также у папиных институтских однокашников. Они жили в старой части города, внутренние дворы их домов пахли сараями и дровами, заполнявшими штабелями всё пространство двора.

Однажды, вскоре после смерти Сталина, отец решил нанести визит своей двоюродной сестре Ирме, бывшей замужем за русским и поэтому из Москвы в 1941 году, как и моя теща, не выселенной. Отец узнал ее телефон из письма родственников, позвонил ей за несколько дней до посещения.

Тетя Ирма, маленькая, востроносая, с пугливыми глазами, жила с мужем и двумя дочерьми на берегу Яузы в двух комнатах огромной коммунальной квартиры.

Во время ужина за столом царила напряженность. Муж папиной кухни от нашего посещения был явно не в восторге.

На следующий день с утра отец отправился по делам, оставив меня до обеда с моими троюродными сестрами. Девочки играли во дворе в классики. Хотели приобщить и меня, но я гордо отка-

зался. Вдруг одна из них, моя ровесница, прекратила играть, подошла ко мне и, с близоруким прищуром глядя мне в глаза, очень серьезно сказала:

— А мы не немцы, мы русские.

Больше всего меня, помнится, поразило не содержание сказанного, а то, что оно, как мне тогда казалось, ничем не было мотивировано, ни моим поведением, ни содержанием наших предыдущих разговоров. Полный контекст того визита стал мне понятен много позже.

В сентябре 1955 года в Москву прибыл канцлер Аденауэр. Его приезду предшествовал в августе футбольный матч сборной СССР с тогдашними чемпионами мира, командой ФРГ, в котором советская команда победила.

В матче Аденауэр — Хрущев победил Аденауэр. Добился возвращения домой оставшихся в живых военнопленных и других интернированных германских граждан. Официально нигде не общалось, говорил ли Аденауэр с Хрущевым о советских немцах, но последние вскоре после его визита были освобождены от комендантского режима, могли отныне передвигаться по стране. Но в главном — в возвращении в родные места на Волгу, на Украину, в Крым, на Кавказ, в отличие от большинства других депортированных народов, им было отказано.

Оттепель для меня — это, прежде всего, приезд бабушки Терезии. Перебравшись в 1946 году из кемеровской Сарбалы в красноярский Канск к сыну Виктору, брату отца, полуинвалиду, поселившемуся там после многих лет заключения, она несколько лет выхаживала его вместе с Мартой, женой Виктора, с которой он сошелся в лагере, и, убедившись в ее заботе и преданности, начала мечтать о поездке к нам.

Она родилась в южном Заволжье, в колонии Страсбург, в большой зажиточной крестьянско-купеческой семье, в 1918 году разом потерявшей все свои многочисленные хозяйства и усадьбы в Сарепте, Паласовке, Дубовке, Камышине, в начале 20-х годов распавшейся, разбредшей по приволжским селам и городам, а затем насильно выселенной и развезенной по Сибири.

Не меньшим несчастьем была для бабушки и потеря окружения единоверцев-лютеран, закрытие церквей, расстрел ее духовного наставника, царицынского священника, крестившего ее в детстве.

Пребывание немцев-спецпоселенцев в местах ссылки в 1948 году закрепили «навечно». Переезд к нам бабушки сделался невозможным.

Но наступил 1956 год, и бабушка отправилась в путь. Встретить ее в Москву на Казанский вокзал мы с отцом поехали на газики, выделенном по этому случаю директором комбината.

**Гроўмама** приехала обессиленная неделей пути, худенькая, но не сгорбленная (почему-то я ожидал увидеть ее сгорбленной), в меховой шапке, повязанной поверх шерстяным шарфом. Она не жаловалась. Даже улыбалась, хотя и не очень весело.

Её поселили в моей комнате, и каждый вечер я слушал, как она молится перед сном. При этом она не осеняла себя крестом, как соседка тетя Настя. Молиться не заставляла. Лишь объясняла смысл молитвы, если я спрашивал.

По много раз на дню она пела в одиночестве песни и псалмы из своего старого лютеранского песенника. Эту маленького формата 700-страничную в кожаном переплете книжку так же, как и крохотную Библию, она сумела пронести через всю свою жизнь, несмотря на все переезды и обыски. Прячала их то в шкатулке для пуговиц и ниток, то в белье, зашивала в подкладку пальто.

Нот в песеннике не было, но бабушка мелодии песен знала с детства. Позднее именно они помогли мне открыть для себя и полюбить классическую немецкую песню, **das deutsche Kunstlied**, соединившую в себе высокий тон хорала и природную естественность народной песни, — особый жанр, особый род пения, сдержанный, без внешних эффектов, но внутренне чрезвычайно напряженный и эмоционально насыщенный, нашедший свою вершину в песнях Шуберта, Шумана, Брамса, Гуго Вольфа, Рихарда Штрауса, Альбана Берга.

Со временем переходы из русской стихии в немецкую и обратно стали для меня естественными, для этого мне не нужно каждый раз что-то в себе преодолевать, что-то отрицать или утверждать.

Отец тех лет вспоминается читающим вслух за обедом раздобытый им где-то полный текст закрытой речи Хрущева на 20-м съезде, а также стоящим в калсонах в ночном полумраке спальни перед приемником в надежде поймать какой-нибудь западный «голос». Засыпая, слышу часто произносимое диктором имя: Надь, Надь, Надь...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Имре Надь (1896–1958) — венгерский политический и государственный деятель. Лидер восстания 1956 года.

Венгерских бунтовщиков уладили. Проискам империализма был дан решительный отпор. Бабушка за обедом озабоченно предположила:

— Теперь, наверное, всех венгров в Биробиджан сошлют.

События в Будапеште были вскоре заслонены феноменальными победами советских спортсменов на олимпиаде в Мельбурне, особенно — футбольной сборной, ставшей чемпионом.

В декабре к нам по пути в отпуск заехал Генка Шмидеке, мой двоюродный брат, сын маминой сестры Марии. Он служил в Молдавии, и его воинская часть подавляла венгерское восстание. Генка хвастался, что танк, на котором он был наводчиком, пальнул по одному зданию и смел весь верхний шестой этаж. Одним выстрелом.

— Неужели всего одним выстрелом? — спрашивал отец.

— Да, дядя Веня, одним, — отвечал Генка, — такие у нас теперь танки.

За доблестный поход Генку наградили отпуском домой. Его отца, германского коммуниста-эмигранта, расстреляли в Ленинграде в 1938-м, мать тоже забрали, больше десяти лет она отсидела в тюрьмах и лагерях; Генка вырос в детдоме и в семьях родственников, в том числе и в нашей.

Тётя Мария проживала теперь со своей новой семьей в уральском Красногурьинске, в том же месте, где отсиживала последние перед освобождением годы, из окна ее дома были видны сторожевые вышки «родного» лагеря.

Мама спросила:

— Как ты можешь там жить?

Тетя Мария ответила:

— А что бы далеко не ехать, когда опять забирать будут. Наездила я.

Август 1957-го запомнился тем, что с утра наше Карабаново пустело. Все устремлялись на Всемирный фестиваль молодежи. Въезд в Москву был ограничен, но пассажиров электричек пропускали.

Ажиотаж вокруг этого события коснулся Карабаново уже за полгода до него. Город почти еженедельно пополнялся новыми жителями.

Случалось это и в предшествующие годы: и когда объявляли амнистию, и во время компаний по оздоровлению криминальной



или нравственной обстановки в столице. К нам сплавляли неблагонадежных, нелегалов, бомжей, беспризорников, отщепенцев и тунеядцев.

На этот раз прислали неожиданный контингент: музыкантов-джазистов, художников-модернистов и уйму массивиков-затейников. Было даже специальное указание: посодействовать им в нахождении жилья. Их разместили по квартирам, но совершенно не знали, что с ними дальше делать. Пришлось каждому цеху дать своего затейника, а в школах, техникуме, РУ и ФЗУ устроить самодеятельные оркестры и кружки ИЗО.

Отправляясь на фестиваль в Москву, нашим жителям хотелось поглазеть на тех, кому не полагалось видеть наших отщепенцев.

Основная программа фестиваля концентрировалась в районе Всесоюзной сельхозвыставки. За пределы города иностранным участникам отлучаться запрещалось. Их расположили в гостиницах, построенных вблизи выставки, чтобы локализовать чужое влияние на москвичей. И те, и другие вынуждены были общаться друг с другом на ограниченном пространстве, что сделало контакты еще более тесными и чему способствовали необычно теплые для августа ночи, а также обилие близлежащих лесопарков.

Родители ехать в Москву с друзьями в первые дни фестиваля мне не разрешили, опасались давки, как на похоронах Сталина. На фестиваль я ездил в сопровождении отца, основной задачей которого в этой поездке было мешать моему общению с «настоящими» немцами: мол, другим сойдет, но не тебе — с твоим именем и фамилией... Отец был абсолютно уверен, что за каждым из тысяч гостей фестиваля установлено персональное наблюдение.

Флаги, флажки, эмблемы, ленты, значки, модницы, модники, диковинные лица, одежды, танцы. Соседние с Москвой городки отзывались на фестиваль продолжительным эхом. Карнавал завершился, а у нас в Карабаново люди еще многие дни веселились. На деревьях висели зацепившиеся за ветви воздушные шары. Не хотелось верить, что праздник кончился...

## Гамарин

В нашем двенадцатиквартирном доме поселился новый жилец Гамарин. Лицо у него было круглое и безбровое. Он работал в милиции, и ему разрешалось носить наган. Когда он напивался, то бегал по двору в майке, размахивал наганом, кричал, что он ворошиловский стрелок и всех нас ликвидирует. Всерьез никто угрозы не принимал, все знали, что наган не заряжен.

Как он попал в наш город и откуда, никто не знал. Говорили, что служил после войны в Польше, где и научился целовать женщинам ручки. Это у него неплохо получалось, в остальном же его жизненная философия исчерпывалась фразой, которую он любил повторять, наставляя нас, подростков: чтобы бабы давали, мужик должен мужиком пахнуть — табаком, водкой и потом.

Глуховатой Клавдии Лазаревне Грановской, жившей под нами и Гамарина панически боявшейся, он каждый раз, повстречав ее на лестнице, кричал в ухо:

— Как! Вы все еще здесь? А я думал, Вы уже в Биробиджане!

Однажды ему взбрело в голову проверить жильцов на благонадежность. У некоторых обитателей дома были весьма экзотические для наших мест фамилии. В соседнем с нами подъезде, например, жил маленький невзрачный агроном по фамилии Донауэр, говоривший с круглым владимирским оканьем. Вырос он в интернате, родителей не помнил, объяснить происхождение своей фамилии затруднялся. Гамарину она напоминала вражеские имена тех времен: Эйзенхауэр, Аденауэр... Он расспрашивал жильцов, с кем Донауэр встречается, у кого бывает, почему так часто и подолгу пропадает в командировках. Жена Донауэра, Машка, крупная томная баба, в отсутствие мужа ему всюю изменяла. Бегал к ней и Гамарин. Гамаринской жене доложили, она расцарапала Машке лицо, но потом все улеглось, Гамарин сумел убедить супругу, что действовал по заданию.

Затем он переключился на моего отца. Немца живьем он и близко не видывал даже на фронте, а тут под твоим боком, на од-

ной с тобой лестничной клетке проживает. Бледную дочку свою заставлял подслушивать под нашей дверью, расспрашивать нас, детей, о родителях.

Узнав об этом, мой отец сказал Гамарину:

— Какой же ты дурак, Гамарин, опоздал ты года на два — на три. Теперь оттепель. Теперь за такую самодеятельность у тебя, глядишь, и наган отнимут.

— Да я что, Александрыч, я, это самое, того, в шутку...

Исчез он из нашего города так же неожиданно, как появился. Куда-то перевели. На следующий день все про него забыли.

Прошло несколько лет. Однажды солнечным апрельским утром прибежала с сообщением Клавдия Лазаревна:

— Гамарин в космосе!

На лице у нее был ужас, словно ей представилось, как Гамарин кричит ей из космоса про Биробиджан.

Отец успокоил:

— Клава, он оттуда не вернется, как Лайка...

Включили радио.

## Болезнь Наума Борисовича

У нашего соседа, Наума Борисовича Грановского, в ОРСе, где он состоял начальником, обнаружилась растрата. До суда дело не дошло. Ревизора три дня поили, возили на пикники, ублажали женским вниманием. Два дня потом он опохмелялся, отлеживался в Доме приезжих. Уехал довольный.

На следующий день после его отъезда с Наумом Борисовичем случился удар. К счастью, не смертельный. Врачи считали, что он выкарабкается. Много пить Науму Борисовичу, с тех пор как у него обнаружилось высокое давление, возбранялось. Но ревизор попался требовательный — требовал, чтобы сотрапезник пил залпом и до дна. С рюмки его глаз не сводил.

В больнице Наум Борисович провел не больше недели, настоял на лечении на дому. Было начало лета. Грановские жили на первом этаже, и больного положили на высокой кровати у открытого низкого окна, так что каждый из жильцов, шедший на службу или со службы, а также по каким-нибудь другим делам, обязательно проходил мимо него и мог ему посочувствовать.

Наум Борисович смотрел на мир затекшими кровью глазами и тяжело дышал.

— Говорил я тебе, Наум, что неправильно пьешь. Когда залпом пьешь, надо прежде воздух без остатка выдохнуть. Ты ведь меньше стакана себе не наливаешь, — упрекал его слесарь Суслов из второго подъезда.

Наум Борисович говорить почти не мог и только вяло мотал в знак протеста головой, что должно было означать: на этот раз я рюмками пил.

Через несколько дней, когда Науму Борисовичу полегчало, на утешения другого соседа, Ивана Ильича Алексеева, что мы, мол, с тобой, Наум, еще не все свое выпили, он грустно возразил, что врачи в больнице его предупредили: водка у гипертоников разрушает клетки мозга, вследствие чего наступает слабоумие.

— Все дело в том, сколько у кого клеток, — успокаивал Иван Ильич, — тебе, Наум, это не грозит.

Моему отцу Наум Борисович признался, что выздоравливать ему не хочется, на хрена ему такое светлое будущее, где ни пить, ни курить, ни от пуза поест, ни на бабу без страха влезть, — одно только пиво и разрешили, но разве же наше пиво можно пить. Вот он во время войны в Праге был, вот там пиво так пиво, ради такого пива он бы и водку бросил.

Учитель математики по фамилии Токарь, многолетний шахматный партнер Наума, так ни разу у него и не выигравший, проходя мимо больного, качал головой:

— Много я жидов повидал, и все как один непьющие. Ты, Наум, — просто выродок!

— Ксан Ксаныч, это я на фронте цель такую перед собой поставил: всем доказать, что и евреи пить умеют, на равных пил, ну и приобщился, — оправдывался Наум Борисович.

— Целеустремленный ты человек, Наум, только цели у тебя какие-то уж больно странные. Город бы наш прилично снабжал, ну ладно, если не город, то хотя бы соседей своих, тебе, надеюсь, не совсем безразличных! Ведь у тебя в магазинах, кроме икры кабачковой, да кильки, да печенья прошлогоднего, — днём с огнем ничего не отыщешь.

Обвинения Токаря были несправедливым преувеличением, но Наум Борисович не возражал, лишь смотрел на приятеля с невыразимой тоской.

Рядом с нашим домом располагалась пожарная охрана. Посочувствовать Науму Борисовичу приходили все без исключения пожарники. Времени у них много, в домино и в городки им играть надоедало. Выглядели они всегда грустными и виноватыми. С их маленьким пузатым начальником Степой Наум Борисович бражничал особенно часто.

Степа откровенничал: «Меня что спасает от инсульта! Страх. Я пью и прежде чем выпью тот самый стакан, после которого вырубиться приятно, в голове начинает звонить колокольчик: а вдруг сейчас, в этот вот момент где-нибудь пожар? Команда у меня справная, не подведет. Ну, а вдруг горит на квартире у какого-нибудь начальства? Или, не приведи Господь, на фабрике? — тюрьмы не миновать. И я отставляю стакан... вернее, выпиваю лишь половину. Тебе бы в мозгу такой звоночек завести».

Врач сказал, что без пиявок не обойтись. Наум Борисович пиявок боялся, к тому же Машка Донауэр из второго подъезда ему тайком сообщила, что пиявки применяют от геморроя и импотенции, и ему было неприятно, что их будут прикладывать к его вискам. Врач убеждал Наума Борисовича другими примерами, уверял, что самому Хрущеву похмельный синдром снимают исключительно пиявками. Когда и это Наума не убедило, дал почитать дореволюционный справочник для фельдшеров, где рассказывалось, что доход России по поставке пиявок за границу стоял на втором месте после продажи туда зерна, а еще, что в старину барышни, шедшие на бал, приставляли по одной пиявке к ушам, чтобы кровь бросилась в лицо и щеки покрывались румянцем. Все считали, что именно этот последний факт подействовал на Наума Борисовича, закоренелого бабника, сильнее всего, и он согласился.

У нас в городе и в районе пиявки не продавались. Нужно было ехать в Москву, но оставлять Наума Борисовича одного Клавдия Лазаревна опасалась. Съездить за пиявками доверили мне.

Накануне Наум Борисович позвал меня и попросил:

— Вовчик, привези мне пластинку долгоиграющую с Карузо, и чтоб там обязательно «Санта Лючия» была. Ты, это самое, с пиявками не торопись назад возвращаться, побудь в Москве, я ведь знаю, ты любишь по книжным и нотным магазинам шляться. Если хочешь, переночуй у моего брата Семена на Полянке, он холостой, живет один, в Театре Эстрады администратором служит, он тебя на Райкина сводит, ты же любишь Райкина, он, правда, сволочь, клопов развел.

— Кто, Райкин?

— Да нет, Семен. В последний раз они меня там чуть не сожрали, но ты молодой, что тебе клопы, раз ты пиявок не боишься.

Попасть на Райкина было заманчиво, но, купив пиявок в аптеке на Каланчевке и получив инструкции от аптекаря, я решил, что Семену Борисовичу звонить не стану: дни стояли жаркие, и пиявки в закрытой банке могли задохнуться. Может, на это и рассчитывал Наум Борисович, предлагая переночевать у брата. Теплую воду пиявки, сказали в аптеке, долго не переносят. Я лишь зашел в магазин за пластинкой.

Вечерняя электричка была переполнена, но мне, пассажиру с диковинным багажом, уступили место у окна. Банку с пиявками я держал на коленях. Заходящее солнце просвечивало ее насквозь.

Пиявки были коричневыми, блестящими, с желтоватым узором и темно-зеленым отливом на спине. Взгляды сидящих и стоящих, входивших и выходивших были прикованы к банке.

Поначалу пассажиры глядели на неё молча. Первым прервал молчание немолодой суховатый мужчина рабочего типа:

— Как ты думаешь, если выпить спирт, в котором они, — отравишься?

— Да они не в спирту, в спирту только органы покойников держат.

Его вопрос словно плотину прорвал.

— Вам бы все только пить! — проворчала сидящая рядом со мной старушка.

— Да мне просто интересно, отравлюсь или нет.

И пошли рассказы.

— Мы в школе училке майских жуков и пиявок в стол подкладывали, чтобы они под юбку ей заползли. Жуков она сразу засекала, а пиявки с опозданием...

— А у нас в Донбассе случай был. Рыбак из пруда большого окуня вытащил, тот весь в пиявках был. Бросил он окуня в траву, а в траве его дочка спала, он всегда ее с собой на рыбалку брал. У дочки второй год нога болела, опухла, из раны кровь с гноем сочилась, врачи лечили, да не долечили. Так вот, пиявки те на ногу ей с окуня незаметно переползли, присосались. Сколько она спала, не знаю, но когда проснулась, раны той словно не было...

— Это за ними водится. У нас в селе под Курском плотницкая артель была, пальцы ребята себе то и дело невзначай рубили, так наш знахарь им пальцы пиявками запросто приживлял, возьмет, палец назад приставит, пиявками обложит, те пососут и готово...

Вскоре набухшие кровью пиявки свисали с обоих висков Наума Борисовича, и Клавдия Лазаревна, заходя в комнату к больному, прыскала и каждый раз говорила:

— Ой, Наум, пиявки твои, как пейсы у наших стариков в Бобруйске. Наум Борисович не отвечал, только вращал оливковыми глазами: не смешно.

Пиявки сделали свое дело, и Наум Борисович сел в постели. Без конца заводил привезенную мной пластинку и с наслаждением подтягивал хриплым баском:

— Санта Лючия, гипертония...

В то лето к нам приехал погостить младший брат мамы дядя Рейнгольд из Челябинска, а к Грановским — юная племянница Клавдии Лазаревны Риточка из Бобруйска. Дядя Рейнгольд дня не мог прожить без аккордеона, и мы взяли на прокат новенький «Вельтмайстер». Вскоре Рейнгольд буквально поселился на скамейке под окном Наума Борисовича. Он знал наизусть несметное количество старых и новых песен — трофейных, лагерных, блатных. Особенно здорово получалась у него «Одинокая гармонь» на немецком. Услышал ее однажды по радио на коротких волнах в исполнении какого-то немецкого певца и сразу запомнил. Наум Борисович таял от удовольствия, немецкие слова в сочетании с русской мелодией звучали совсем, как идиш.

Вскоре всем стало ясно, что Риточка без памяти влюбилась в дядю Рейнгольда. Была она рыжая, кареглазая и вся в веснушках. У дяди Рейнгольда были черные кудри и ярко-синие глаза. Риточка сидела у окна на кровати больного и с восторгом подпевала дяде Рейнгольду. После нескольких таких спевок обнаружилось, что дяде Рейнгольду она тоже небезразлична. Влюбляясь все больше, он перешел на опереточные арии. Постепенно его пение переместилось на берег реки, а потом в березовую рощу. Наум Борисович все чаще оставался в одиночестве.

Возвращались Риточка с дядей Рейнгольдом, которого она называла Ромой, только под вечер — по одиночке, крадучись, взъерошенные и счастливые. Аккордеон в их отсутствие все чаще оставался лежать на скамейке под присмотром Наума Борисовича.

От Клавдии Лазаревны отлучек этих скрыть не удалось, и в Бобруйск полетела телеграмма: «Рита нашла себе гою, уральского сталевара».

К Грановским незамедлительно пожаловала целая делегация бобруйских родственников. В последующие дни и ночи из квартиры Грановских доносились тревожные звуки. На улице Риточка больше не появлялась. Наконец, «совет старейшин» вынес решение отправить девушку под семейным конвоем назад в Бобруйск. При отъезде Риточка кричала, кусалась, царапалась, ничто не помогло. Пришел грузовик, и бобруйская орава шумно отчалила от нашего дома.

Дядя Рейнгольд несколько дней бродил грустный вдоль берега реки — один, без аккордеона, и вскоре тоже уехал.



Во дворе наступила тишина. Лишь порой она прерывалось итальянской пластинкой Наума Борисовича.

Вскоре врачи разрешили ему выходить из дома. Сидя вместе на той злополучной скамейке, мы подолгу молчали.

— Нет, не любил по-настоящему Рома Риту. Если бы любил, не отдал бы, шины бы у грузовика проткнул, поезд бы стоп-краном остановил. А он заперся у себя в комнате с аккордеоном. За любовь свою, Вовчик, бороться надо, всю жизнь потом жалеть будешь... — рассуждал Наум Борисович, с опаской поглядывая в сторону поющей в недрах квартиры Клавдии Лазаревны. И глаза его при этом грустнели и слегка увлажнялись.

## Золушка

В 50-е годы зимы стояли суровые. Когда столбик градусника опускался до тридцати, занятия отменяли. Некоторые родители оставляли детей дома и при меньших температурах. Ведь в школу ходили пешком, а из соседних с городом деревень за несколько километров.

Блаженные дни. На все появлялось время, на чтение, на ка-ток.

Сегодня 28 градусов. Можно бы и не пойти, тем более что не успел подготовиться по алгебре. Родители не возражают. Но тогда целый день не увижу *ее*. И она тоже будет разочарована (так я думаю), не найдя меня в школе. Бабушка закутывает меня широким шарфом, закрывает половину лица, заставляет надеть валенки, которые я никогда не ношу. Мне кажется, что я выгляжу как чучело огородное, но на улице рад, что бабушка была такой настойчивой.

Но *она* не пришла. На перемене, дождавшись, когда все выйдут в коридор, сажусь за ее парту и мне кажется, что ощущаю тепло ее тела.

Ее зовут Саша. Кое-кто называет ее Шурой, но для меня это какое-то другое имя. Мой слух признает только имя Саша.

Не помню, как и когда мы оказались в одном классе, то ли она пришла из другой школы, то ли два класса объединили.

Воспоминание о том морозном дне, видимо, — результат чувства, начавшегося много раньше. Предыдущие дни, ровные и счастливые, удовлетворявшие сознанием *ее* существования и еще не проявлявшие потребности в признании, неожиданно сфокусировались в горьком разочаровании от ее неприсутствия в классе.

У любого человека есть образ начала. Часто мне снится сон: зимним солнечным утром вхожу в широченные ворота какой-то прекрасной усадьбы и медленно иду по аллее парка к заснеженному дворцу, туда, где по светлому полу жарко натопленной сверкающей залы ступает *она*, совсем еще девочка. Дворец маячит

вдали, я иду и иду, но он все на том же от меня расстоянии, не приближаясь и не отдаляясь... Словно видение чего-то навсегда утраченного и вечно желанного.

Каникулы после окончания шестого класса. Меня отправляют до осени к родственникам в Сталинград. Это значит, я не увижу ее больше двух месяцев. Родители везут меня на вокзал, и я плачу. Отец стыдит, я же мужчина и не должен распускать нюни. Хорошо, что он не догадывается, из-за чего я плачу. Он думает, это волнение перед первым в моей жизни самостоятельным путешествием.

Первые дни учебы в седьмом классе. Бабушка делает мне замечание, что я слишком небрежно одеваюсь, а в классе, наверное, девочки. Это хорошо, что у вас в классе не только мальчики, говорит она, и рассказывает, что хотя и училась в школе исключительно женской, все преподаватели были мужчины, и это подстегивало. Возможности у девушек были ограниченными — на всех одинаковая форма, и все же каждая изощрылась придумать что-нибудь свое, то в прическе, то в покрое воротничков и манжет.

Слова бабушки оказывают воздействие, и я неохотно заменяю фуфайку на новый пиджак с хлястиком на спине.

Радостная новость — у нас будет свой школьный театр. Директриса, бывшая ткачиха-стахановка, настаивает на том, чтобы первым спектаклем был «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. Ей, мол, рекомендовали на учительской конференции в Иванове. Современная пьеса-сказка, автор — итальянец, коммунист. Ну, подумали мы, коли пьесу Подъячева отобрала, — придется маршировать под барабан.

Но герои сказки одолевают зло без патетики, без гильотины. Важного и надутого начальника полиции синьора Помидора, роль которого поручается мне, никто не боится. Чиполлино и его друзья Редиска, Крот, кум Тыква и Земляничка сильны, потому что их объединяет взаимопомощь. Разыгрывая пьесу, мы не думали ни о каком классовом смысле. В Карабаново были свои синьоры Помидоры, пузатые начальники и бездельники.

Директрисе явно не нравится, что с прислужниками режима поступают гуманно — графини Вишни эмигрируют, барон Апельсин становится грузчиком, но в стране — самый разгар *Оттепели*, и Подъячева скрепя сердце пьесу пропускает.

Саше достается роль Землянички, подружки Чиполлино. Моя главная забота: как я буду мою Сашу преследовать и заточать

в темницу. С другой стороны, я этому рад, могу по праву полицейского беспрепятственно хватать ее за руку, даже брать в охапку, чтобы тащить в участок, таскать за косы. И при этом вдыхать ее запах. Лучшей роли, чем роль Помидора, невозможно и придумать.

На Саше короткая юбочка, на репетициях сверкают ее голые коленки и икры. На премьеру приходят наши родители. Мама Саши за кулисой поправляет ей костюм, что-то подшивает. Я гляжу как замороженный и впервые отмечаю про себя, что меня волнуют формы Сашиного тела. В них, еще неразвитых, совсем нет, как у большинства девочек ее возраста, капризной мальчишеской угловатости, она выглядит не то чтобы маленькой барышней, но в ее движениях уже есть что-то осознанное, в осанке гордая небрежность. О ней никогда, ни до, ни после, нельзя было сказать «плод незрелый», она словно не имела переходного возраста.

Первый урок в 8-м классе. Зоя Михайловна, учительница физики, наш классный руководитель, объявляет нам, что будет теперь называть нас на «вы», что отныне мы — старшеклассники, юноши и девушки, что мы больше не дети.

Читаем в классе вслух восьмую главу «Евгения Онегина»:

Но чтоб продлилась жизнь моя,  
Я утром должен быть уверен,  
Что с вами днем увижусь я...

Это обо мне. Выписываю печатными буквами на отдельном листочке не всю строфу, а только эти слова, и незаметно запикиваю его в портфель Саши. Потом несколько дней не решаюсь взглянуть на нее. Наблюдаю со стороны, но не вижу в выражении ее лица никаких изменений.

После Пушкина проходим Лермонтова. Читаю его стихи не только в «Родной речи», но и в однотомном дореволюционном издании, сохранившемся в нашей семейной библиотеке. Отвечая урок, рассказываю о стихах, написанных поэтом, когда ему было, как нам, — пятнадцать. Лилия Ивановна, учительница литературы, недовольно пожимает плечами и просит меня к следующему уроку подготовить подборку из «этого раннего Лермонтова».

Отбираю исключительно о любви: «Незабудку», «Я видел раз ее в веселом вихре бала», «Первую любовь», «Я не унижусь пред тобой». Всем стихи понравились, но Лилия Ивановна смазывает

впечатление, сказав, что они незрелые, несамостоятельные, что в них автор еще не освободился от пагубного влияния Байрона, еще не стал реалистом, а романтизм от реализма отличается надуманностью и отвлеченным фантазерством. В пятнадцать лет человек не может переживать и понимать настоящей любви.

Класс молчит. По лицам видно, что многим есть что сказать по этому поводу, но они не решаются. На лице Саши невозмутимость и, как мне кажется, безразличие.

Школьный театр на этот раз репетировал пьесу о партизанах, о детях-героях, но Лилия Иванова вовремя поняла, что наших актерских и ее режиссерских способностей для изображения серьезных драматических ситуаций явно недостаточно, и тогда я предложил опять поставить сказку, и не какую-нибудь, а сказку сказок: «Золушку». В школьную библиотеку как раз поступила новая инсценировка «Золушки» для самодеятельных театров. Она была предельно упрощенной и короткой, и мы вместе с Лилией Ивановой решили увеличить число действующих лиц, используя мотивы из всех известных нам вариантов сказки.

Наши планы, однако, вдруг натолкнулись на противодействие директрисы. Опять сказка, опять это старье, в то время когда вся страна стремится к новому. Нас спас Фридрих Энгельс, написавший в молодости в одном своем эссе, что ничто не воспитывает молодую душу так, как история Золушки, девушки из народа. В новом выходявшем тогда полном собрании сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, мы это место отыскали и директриса сдалась.

Мое предложение не было бескорыстным. Я был уверен, что роль Золушки и принца обязательно поручат Саше и мне. У Саши не было конкуренции. Мне же роль принца, считал я, даже если об этом знало только мое сердце, принадлежала по праву любви. Так оно и случилось.

Вариант Евгения Шварца, знакомый в то время каждому по известному фильму, мы сразу отвергли. «Золушка» Гриммов мне нравилась больше, чем «Золушка» Перро. У Гриммов все волшебства совершает не фея, а силы природы: дерево, политое слезами Золушки, а также птички на нем, понимающие золушкин язык и сами умеющие говорить. Туфельки Золушки у Гриммов из кожи, хрусталь же Перро — твердый и холодный. Но главное, в варианте Гриммов король устраивает пир, длящийся целых три дня, и в конце каждого Золушке удается ускользнуть. Три бала, три

комплекта нарядов, а значит, и время нашего с Сашей общения на репетициях и на сцене будет продолжительней. Победил вариант Гриммов, но, к моему сожалению, с одним только балом.

В костюмерной городского клуба я раздобыл золотистый камзол — нечто среднее между кафтаном Гвидона и жакетом венецианца, он удачно прикрывал верхнюю часть белых трикотажных кальсон производства ГДР, плотно облегавших ноги и призванных имитировать чулки-штаны эпохи Ренессанса. Роста мне прибавляли массивные женские туфли с застежками и на широких каблуках, тоже взятые из клубной гардеробной.

Каждый, участвовавший в спектакле, заботился о своем костюме сам. Сашино платье помню ослепительным. Впрочем, оно могло быть любым: я был ослеплен ее голосом, движениями ее тела, но самое главное — восторгом в ее глазах.

Лилия Ивановна советовала: играйте, как вам подсказывает чувство. Мне не надо было *играть*, не надо было изображать влюбленности в Золушку. Поэтому проблема — не дать никому заметить своих чувств к Саше — отпадала сама собой. Я переживал происходящее как осуществляющуюся на сцене собственную судьбу и почти не ощущал границы между реальностью и мечтой. Во мне царил такая очарованность и такое разливалось счастье, что я видел перед собой не Золушку, а Сашу в образе своей невесты.

Помню локоны, белоснежную кожу обнаженных ключиц и шеи, блески на платье, наше недолгое кружение в танце, нежность ее ладони в своей руке. Помню первое прикосновение. И хотя уже в «Чиполлино» у меня была возможность «прикоснуться» к Саше и почувствовать тепло ее тела, но там ей по роли положено было сопротивляться, отбиваться, колотить меня кулачками, здесь же прикосновение, верил я, было с ее стороны желанным. У Лермонтова я читал, что «первое прикосновение решает дело» и что «все почти страсти начинаются так», и надеялся на «электрическую искру из моей руки в ее руку».

Нормы поведения в тогдашней жизни даже на сцене диктовали предельную чопорность. Когда король объявлял Золушке, что скоро венчание, я искал глазами Сашиного взгляда, мы должны были изображать радость, но она, словно стесняясь, смотрела в сторону, смущенными казались и все участники спектакля, и зрители тоже. И под это общее смущение я протягивал Золушке свои руки.

Было непонятно, как вести себя принцу, никто не пришел ему на помощь, не сказал, должен ли он обнять свою невесту или хотя бы поцеловать ей руку. В фильме по сценарию Шварца Золушке и принцу было позволено коснуться друг друга лбами. Саша сама нашла выход и на мгновение (всего лишь на мгновение!) положила голову мне на плечо.

Потом до конца заключительной сцены мы держали друг друга за руки. Мне хотелось, чтобы сцена эта длилась вечно. Опустился занавес. Еще не придя в себя, я все так же продолжал держать Шашины руки. Она же, недоуменно взглянув на меня, высвободила их и, ничего не сказав, куда-то убежала.

Все закончилось, но я не уходил со сцены. Потом Саша опять появилась, деловитая, уже переодевшаяся, начала помогать собирать реквизит, я же, как гипнотизированный, продолжал бродить по сцене, не желая смириться с тем, что все завершилось. Голос Лилии Ивановны вывел меня из оцепенения: «Вебер, костюмерша просит сдать камзол и туфли!»

«Золушка» была воскресным утренним спектаклем, и его участники решили встретиться сразу после обеда в школе и вместе побродить по окрестностям. По дороге я повстречал Сашу с подружкой и уговорил их сбежать от остальных и погулять отдельно, втроем.

Несмотря на апрель, было необычно жарко, и деревья уже начали распускаться. Клейко пахло лопающимися почками. Саша была легко одета, слишком легко для апреля, в летнем платье с накинутой на него кофточкой, в носочках и туфельках. Она разговаривала больше с подружкой, чем со мной, но никогда до этого я не мог так подолгу и беспрепятственно разглядывать ее, задавать ей вопросы, слушать ответы — слова, обращенные ко мне...

Именно с того счастливого дня начались мои мучения. Прежде я не задумывался над тем, ответит ли она взаимностью, жил накоплением своего чувства. Мне было достаточно его одного, и я не страдал от отсутствия ответной волны. И был убежден, что Саша меня тоже любит, но только, как и я, старается пока не показать этого.

Теперь ее неучастие в моей жизни показалось мне чудовищной нелепостью, хотелось везде и всегда быть с нею. Однако в ее поведении ничего не менялось, и меня впервые посетило тревожное подозрение, что причина ее сдержанности вовсе не в том, что она пытается скрыть от других свое ко мне отношение.

Весна разгоралась и впервые принесла ощущение боли. Чем лучше была погода, тем мучительней были мысли о Саше. Все чаще учителя проводили свои занятия в прилегающем к школе парке, я старался сесть на траву поближе к Саше и млел от ласки утреннего ветерка, овевавшего нас. Порой она снимала кофточку и оставалась в одном платье без рукавов, оголяя нежную ямочку от прививки оспы. Хотелось коснуться этой ямочки губами.

Однажды майский жук сел на Сашины волосы и спрятался в них, и она попросила меня извлечь его. Потом я несколько дней не мыл свою руку, пахнувшую ее волосами.

Я совершенно не представлял себе, как проходят дни Саши вне школы. Я знал, что у нее есть старшие сестра и брат и что они учатся в институтах в каких-то других городах. Пытался представить себе, как она по утрам встает с постели, как ложиться спать, что делает в свободные от подготовки уроков часы. К этой недоступной мне части Сашиной жизни я мучительно ревновал.

На каникулы Саша куда-то укатила, город без нее превратился в невыносимую пустыню, и я упросил отца отправить меня к родственникам в Одессу, провел там несколько недель в блужданиях вдоль берега моря и в мечтаниях о том, как по возвращению, наконец-то, ей откроюсь.

Первого сентября я встретил Сашу в школьной раздевалке. Она стояла у зеркала и поправляла волосы. Ответив на мое приветствие и мельком взглянув на меня, она продолжала заниматься прической. — Как ты загорел, а у меня вот не получается. — И хорошо, тебе загар не к лицу. — А вот кое-кто считает, что очень даже к лицу, — возразила она, улыбнувшись незнакомой мне лукавой улыбкой, и помчалась в класс.

Любые мои попытки в последующие дни заговорить с ней заканчивались ее короткими торопливыми ответами, исключавшими любую интимную интонацию. Единственно, что ее интересовало, какую пьесу мы будем играть в этом году, в девятом классе.

От смелости моего намерения открыться и следа не осталось, проходили недели, месяцы, я все больше робел и на школьных вечерах не решался даже пригласить ее на танец. Поводом к общению могли бы стать репетиции новой пьесы. Но Лилию Ивановну вынудили таки поставить, наконец, что-то строго идейное. То ли С. Михалкова, то ли Л. Кассиля. Саши и мне участвовать не предложили. Изображению положительных послевоенных школьников мешал наш «сказочный» имидж.



Причина ее безразличия заключалась, решил я, во мне самом, и я возненавидел свою внешность, свою незрелость, свою тщедушность. Избегал совместных с девочками уроков физкультуры, где бы могла проявиться моя неловкость, неспортивность. Все чаще молчал в ее присутствии, боясь показаться неостроумным, ненаходчивым.

Чем поразить ее воображение? Ведь и уроки фортепьяно я два года назад стал брать исключительно, чтобы заслужить ее восхищение. Не следовать же примеру одного жителя нашего города, который вдруг вздумал разводить павлинов! Они у него все подыхали, но один выжил, и был объектом всеобщего восторженного интереса.

В связи с введением профобучения и перетасовкой классов нас постоянно пересаживали. Часто я оказывался сидящим позади Саши и мог свободно наблюдать за ней. Например, за тем, как она неторопливым движением руки поправляла лямку форменного фартука, спадавшую с ее левого плеча, когда наклонялась над тетрадкой! Порой она приходила с заколотыми наверх волосами, и солнечный зайчик высвечивал белокурый пушок на ее высокой шее и завитки на висках или же играл на пухлых губах и слегка выдвинутом вперед округлом подбородке. Мне казалось, и она должна испытывать волнение оттого, что я сижу к ней так близко, должна слышать мое дыхание, но она никогда не поворачивала головы в мою сторону, никогда не обращалась ко мне с какой-нибудь просьбой или вопросом. О, это чувство быть так близко к ней и так далеко!

День ото дня она выросла, походка ее приобрела уверенную легкость, а осанка непривычную для ее возраста величавость.

Мои чувства к Саше постепенно вытеснили все остальное. Окружающий мир существовал, лишь если был связан с ней. Что делать? Попросить своих друзей из школьного оркестра сыграть всем вместе под ее окнами серенаду? Написать ей письмо? Но я и так писал ей чуть ли не каждый день и рвал эти письма в клочья — сила чувства тормозила мои желания. О, страх поражения, когда не представляешь себе, как после него будешь жить дальше!

Как-то я подстроил, что во время очередной экскурсии нашего класса в Москву мы с Сашей оказались наедине на крайней лавке электрички. Сам себе удивляясь, я вдруг бойко заговорил.

Всеми силами старался произвести впечатление, цитировал любимые стихи, рассказывал анекдоты, расспрашивал, что она любит, как проводит свободное время, — вопросы, на которые при трехлетнем стаже влюбленности уже давно должен был бы знать исчерпывающие ответы. Она отвечала односложно и больше молчала, глядя на меня с легким недоумением. Я все еще тушевался и избегал ее прямого взгляда. Но вот решительно посмотрел в ее глаза и увидел в них свое отражение: худенького мальчика в белой накрахмаленной мамой рубашечке и узком пиджачке, говорящего что-то очень скучное, и еще я увидел серое небо, с которого вот-вот должен был политься дождь. Она стала оглядываться, словно в надежде, что кто-то подсядет на нашу лавку. Я продолжал говорить, ее взгляд становился все безучастней, и она обрадовалась, когда ее позвал кто-то из одноклассников.

Теперь вечерами я приходил к ее дому и не уходил, пока окна не гасли. Иногда наградой за мое терпение в окне мелькал Сашин силуэт. С наступлением каникул я приходил даже по утрам, прятался в кустах акаций напротив ее подъезда. Однажды она вышла на улицу с корзиной стираного белья. Развесив его на веревке во дворе, вдруг посмотрела на кусты акации, насмешливо улыбнулась и, сорвав с газона цветок, заколола себе в волосы. Потом опять посмотрела на кусты, где я прятался, и долго не отрывала взгляда, шевеля губами, словно что-то беззвучно напевала... От волнения я перестал дышать. О нет, я не обольщался, что ее взгляд предназначается мне! Саша вела себя как человек, абсолютно уверенный, что за ним никто не наблюдает.

Порою в дообеденное время ее посылали за покупками. У нее было два или три легких летних платья, которые были мне хорошо знакомы, но всякий раз казалось, что она в новом наряде. Всегда в ее облике было что-нибудь неожиданное, то волосы подругому заколоты, то каким-то особенным образом подвязана косынка или вплетена ленточка в косу.

Я устремлялся за ней, но всегда на расстоянии, достаточном, чтобы не быть обнаруженным. Но вот однажды я вдруг увидел, что расстояние между мной и Сашей все больше сокращается. Какая-то непреодолимая сила ускоряла мои шаги. Я приблизился настолько, что слышал ее голос, когда она здоровалась со встречавшимися ей знакомыми.

На этот раз ее целью был колхозный рынок. Он был небольшим по площади, и оттого на нем всегда было тесно. Пахло дегтем, рогожей, сеном, навозом, лошадиным потом, и еще всем тем, чем пахнет среднерусский базар на пике лета: вениками, столярной стружкой, малосольными огурцами, селедочным рассолом, постным маслом, грибами и медом. Ларьки располагались по всему периметру рынка, образуя ряды: мясной, рыбный, молочный, зеленый, скотный. Отдельно на отшибе была барахолка и продажа самодельных вещей: платков, валенок, варежек, вязаных носков и чулок. Рынок по воскресеньям разрастался и занимал прилегающие улицы. Здесь торговали прямо с телег, чаще всего без веса — ведрами и мешками.

У каждого ряда свой беспорядок, своя толчея. Саша пробиралась сквозь нее легко, искусно лавируя между товарами и людьми, умудряясь никого не задеть. Изредка что-то покупая, она кокетничала с продавцами, шутливо торговалась, хохотала. Было видно, что продавцы очарованы ее юностью и с удовольствием дают ей скидку. Она медленно обходила ряды, останавливаясь чуть ли не у каждого лотка, ей доставляло удовольствие просто смотреть, просто наблюдать. Я впервые переживал ее существование в гуще жизни, в естественной обстановке, в окружении иных, нежели в опостылевшей школе, красок, запахов, звуков. Ее жесты приобретали здесь другой ритм, другую музыку.

Целый час я следовал за нею, буквально дышал у нее за спиной, совершенно не думая об осторожности. Вдруг она повернулась и посмотрела на меня, всего одну долю секунды, так коротко, словно и не смотрела вовсе, не поздоровалась, не кивнула — как бы не узнала, но по лицу ее пробежала тень, то ли досады, то ли беспомощности. Я остановился, смешался с толпой, издали наблюдая за тем, как она, завершив покупки, с двумя холщевыми сумками в руках зашагала к выходу. Я не сомневался, что она узнала меня. Рассеянный, скользкий по окружающим предметам взгляд всегда был ее средством показать свое равнодушие. Я продолжал смотреть ей вслед. Больше всего в те минуты она, наверное, опасалась, что я ее догоню и предложу донести тяжелые сумки до дома.

Однажды поздно вечером, дождавшись Сашу около ее дома, я решительно подошел к ней, возвращавшейся с подружкой из кино, и попросил задержаться. Объяснил, что мне хотелось бы поговорить с ней наедине. Она ничего не ответила, лишь со снисхо-

дительной улыбкой отрицательно покачала головой. Тогда я предложил встретиться на следующий день, но Саша еще шире улыбнулась и, в конце концов, рассмеялась.

В этот момент появился незнакомый мне молодой человек в студенческой тужурке (тогда во многих технических вузах носили униформу). На вид ему было не меньше двадцати. Он обнял Сашу, видимо, ожидавшую его прихода, за талию, и они, не удостоив вниманием ни меня, ни Сашину подружку и даже не попрощавшись, ушли в сторону парка. Подружка смущенно пожала плечами.

На следующий день Саша пришла в школу с повязанным на шее ситцевым шарфиком, но ни от кого не смогла утаить два фиолетовых следа от чьих-то страстных поцелуев. Да она и не особенно старалась скрывать их. Шарфик был повязан лишь для приличия. В последующие дни следы синели, чернели, бледнели и исчезли только к концу школьных занятий.

Отныне я знал, что у меня никакой надежды. Все окружающее обесцветилось, словно мое горе выпило из него кровь. Солнце не всходило, и луна светила, как аквариум с мертвыми рыбками.

Как жить дальше с этой невыносимой болью? Как освободиться из этого плена? Уехать? Но ведь там под другими небесами нет ее! Да и зачем они мне, если нет ее! У Вертера был хотя бы собеседник, его друг Вильгельм, которому он мог поверять свои чувства и утишать на время сердечную муку. И вдруг чудовищная мысль: разлюбить! Там, за пределом любви — свобода, разреженное бесстрастное пространство, царство покоя, где нет ни страданий, ни терзаний. Разлюбить! Но как? По совету одного знаменитого в прошлом театрального режиссера из ссыльных, «застрявшего» у нас на 101-м километре, я стал искать недостатки в Сашиней внешности, в ее манере говорить, в жестах, в характере. Режиссер цитировал Лопе де Вега: «чтоб позабыть, старайтесь в памяти носить её изъян, и самый скверный» и что «лучший бальзам на любовную рану — новая любовь». Но чем больше я находил в ней изъянов, тем сильнее любил ее, а взгляд на любую другую девушку лишь подтверждал, что нет никого на свете прекраснее Саши.

Я вызывал в памяти мерзкий цвет тех бесстыдных следов от чужих поцелуев, пытался, насколько мне позволяла моя фантазия, представить себе моменты ее близости с другим человеком. Но и это не помогало. Все перевешивал ее образ, являвшийся в завершении всех этих попыток в своей идеальной чистоте.

Как все просто, например, в «Тристане и Изольде»: герои выпили напиток, и «сердца их дрогнули и забились, и они взглянули друг на друга другими глазами». Наверняка есть такой напиток, который не влюбляет, а «разлюбливает». Но кто сварит мне это зелье!

А в «Коварстве и любви» говорится, что Бог определяет, кого любит, Бог сочетает сердца. И Бог их разлучает. Но как докричаться до Бога?

Поздней осенью я простудился, тяжело заболел и многие недели не ходил в школу. Не видя каждый день Сашу, я старался вместе со своим недугом победить и свою любовь. Больше всего меня поразило, что она ни разу даже не поинтересовалась, как протекает моя болезнь.

Когда по ночам я лежал в жару, все мои сновидения касались Саши, в них мы общались друг с другом, делали что-то общее, чего никогда не было наяву, но сон каждый раз принимал тревожное звучание, что-то грозное, угнетающее появлялось в нем. Это полностью противоречило моим надеждам и желаниям в реальной жизни, и я просыпался, но очень трудно и медленно, словно кто-то вытягивал меня из пропасти.

Однажды, пробудившись, я почувствовал, что впервые за все дни болезни у меня полностью спала температура. Одновременно произошло и другое: мое сердце избавилось от томления. Словно кто-то брызнул на огонь водой, и он вдруг опал холодной золой. Видимо, и у души были свои пределы.

Но я не ощущал себя счастливым. Вернее, я ощущал себя еще более несчастным. Не любить было еще тяжелей, чем любить безнадежно. Нелюбовь была больнее любви.

Совсем поправившись, уже на первой своей прогулке я случайно встретил ее в городе в шумной компании незнакомых мне людей. Посмотри она на меня хотя бы с состраданием, и незатвердевший рубец стал бы вновь старой раной. Но она едва взглянула на меня. Она уходила, так и не узнав по-настоящему ничего о моей любви к ней, а значит, и многого о себе самой. И вскоре скрылась из вида, свернув вместе с другими в ближайший переулок. И через минуту я уже не мог поручиться, что это была она.

## Невидимка

В третьем классе меня посадили за одну парту с девчонкой. Звали ее Света. Она приходила в школу в чистом фартучке, в на-рукавничках, с бантами в солнечных волосах, безукоризненная, как ее тетрадка по чистописанию. Сидеть с ней за одной партой было настоящим испытанием.

Почерк у меня был ужасным, в дневнике среди пятерок и четверок мелькали тройки и даже двойки, я опаздывал, забывал дома ручки и тетради. Но я ломал характер, упорно с собою боролся — завоевать уважение Светы стало целью моего существования. Говорили, что я менялся буквально на глазах.

На школьных переменах нас обычно удаляли из класса — для проветривания. Однажды, возвратясь позже всех, я поразился царившей в классе тишине. Но почему все смотрят в мою сторону?

Подойдя к своему месту, я увидел, что мой черный портфель лежит прямо на парте, а на нем мелом жирно нарисована свастика.

Я посмотрел вокруг:

— Кто это сделал?

За всех ответила Света:

— А мы думали, это ты сам так свой портфель разукрасил, чтобы его с другими не спутали.

И весь класс громко рассмеялся.

В тот же день я попросил учительницу пересадить меня к кому-нибудь другому. О, какое же это было счастье — не желать больше нравиться ей! Я мог снова отдаться своей натуре, не обращать внимания на чернильные кляксы на руках и тетрадях, ставить на стол локти, получать с чистой совестью тройки. Света переключилась на нового соседа по парте — долговязого Скорохова.

Свастика вновь и вновь появлялась на моем портфеле, нерегулярно, порой раз в месяц, порой раз в полгода. Так продолжалось несколько лет. И я, и другие постепенно к этому привыкли, и вместе подтрунивали над неутомимым невидимкой.

В девятом классе историю у нас со второго полугодия стала преподавать молодая учительница Елена Николаевна. Одновременно она вела и уроки географии. Елена Николаевна была выпускницей Московского университета, могла устроиться в столице, но попросила распределить ее в провинцию. Отец, университетский профессор, пытался препятствовать, но Елена Николаевна не уступила, приняла лишь условие, чтобы провинция эта была не слишком уж дальней. Так она попала в наше ближнее захолустье.

Небольшого роста, темноволосая, большеглазая и большеротая, Елена Николаевна зажигала своей неизменной мажорностью. Ей было тесно в рамках своего предмета, и она пичкала нас разного рода сведениями, литературными цитатами, даже пела на уроке разные песенки. Порой было непонятно, какой у нас урок, география, история или литература. Темы, которых она касалась, казавшиеся раньше неинтересными, вырастали на глазах из карликов в великанов.

Мы мечтали о будущих подвигах на дальних широтах и меридианах. Елена Николаевна предлагала заняться поисками неизведанного в непосредственной близости от школы. Обратить, например, внимание на то, как живописен наш городок, лепящийся к речке, взглянуть на нее саму, извилистую, но при этом неторопливую, вдоль которой мы каждый день ходили в школу, не обращая на нее внимания. Или на бывший господский парк за школьной оградой: на то, как умело он расположен, как искусно вписаны между дубов и лип березки и клены, и какой он грустно-счастливый, когда глядит с высоты на бегущую вдаль реку.

Даже к местным небылицам, вроде той, что, мол, от разрушенной церкви на Церковной горе до самого Александрова ведет тайный подземный ход, проложенный еще самим Иван Грозным, она отнеслась серьезно, без насмешки.

— Просто так слухи не появляются...

— Это почему же не появляются, — возражали мы, — вот кто-нибудь из нас возьмет сейчас да и выдумает что-нибудь — и уже через неделю об том будет говорить всё Карабаново.

— А вот и не выдумает ничего стоящего этот ваш кто-нибудь, — задирала нас Елена Николаевна, — давайте, пробуйте, давайте, придумывайте, пусть это и будет вашим домашним заданием.

Наши придумки оказались скучными, нестроумными и нелепыми, и эксперименты над карабановцами было решено до времени отложить.

— Даже если история с подземным ходом — вымысел, он основан на факте существования таких ходов, а значит, это чья-то идея, и она почему-то зародилась. Карабаново при Иване Грозном еще не существовало. Но ведь можно предположить, что была здесь некогда лесная часовенка, или, вернее, скит, в котором Грозный скрывался в затяжные периоды своей тоски. Допустим, подземный ход был прорыт только от слободы до леса, а там уже царь выбирался на поверхность и дальше по лесу шел...

Пораженные воображением Елены Николаевны, мы не знали, что возразить.

— Кстати, коли мы уже битый час про Грозного толкуем, расскажите-ка, что вам известно об Александровской Слободе?

Всех нас родители водили когда-то в этот заросший лебедой и репейником музей, и у некоторых сохранилась память о кое-каких музейных экспонатах. Меня, например, поразил тяжелый посох Грозного. Смотритель сказал, им царь наследника своего убил, сына Ивана. Большинство же ничего не могло вспомнить. А рассказать — и того меньше.

— Вот те на! Живут под боком у русского Версаля и понятия о том не имеют! Одно время, хоть и ненадолго, здесь столица России была, куда Грозный со всем двором переехал. И первая русская печатня работала тоже в Александровской Слободе, а руководил ею человек с довольно странной для его занятия фамилией — Невежа. Да, много странного было в той русской жизни, как, впрочем, и до, и после...

Она часто заканчивала свою речь подобными таинственными фразами, оставляя нас в неведении. А губы ее при этом трогала медленная мечтательная улыбка.

Однажды Елена Николаевна нагнала меня по дороге из школы. Нам было по пути, но как-то уж больно дотошно расспрашивала она меня о нашей семье, о моих интересах. Расставаясь, вдруг спросила, что означает свастика на моем портфеле. Я взглянул на портфель и понял, что в этот день впервые свастики не заметил, так и прошел с ней всю дорогу от школы. Елена Николаевна о невидимке слышала впервые. Со времени ее появления у нас он не давал о себе знать. Я скаламбурил:



— На каждое заведение своё привидение!

Прощаясь, она посмотрела мне в глаза и вдруг улыбнулась — на этот раз только мне одному — той самой своей загадочной улыбкой.

Была у Елены Николаевны одна слабость, вполне естественная для студентки пятидесятых годов — любовь к путешествиям. Она принадлежала к легендарному «байдарочному» поколению, проводившему добрую часть жизни в походах, в пении под гитару у лесных костров. Этой страстью она старалась заразить и своих учеников.

В июне мы всем классом отправились в настоящий поход. Нам предстояло посетить старинный город Переславль-Залесский, обследовать 28-километровую береговую линию Плещеева озера, посетить музей «Ботика Петра I» — суденышка, с которого начался российский морской флот, осмотреть близлежащие от озера и города руины монастырей и церквей, а также составить карту местности и ее достопримечательностей.

Директор школы Подъячева, бывшая ткачиха-стахановка, сухая, постоянно шамкающая вставными челюстями старуха, напутствовала нас:

— Наблюдайте больше родную природу, неча по церквям шляться!

До Переславля от нас всего 47 километров. Однако добирались мы целых три дня, шли с многочасовыми остановками, редко большаками, чаще проселочными дорогами, а многие километры прошагали речными тропами.

Вдоль любой речки ведут они, протоптанные рыбаками. Шли мимо тенистых омутов, солнечных плесов, по кромке отмелей, по краю песчаных обрывов, пробирались сквозь лозняковые джунгли и заросли дикой малины. Сухие, пахнущие мятой, диким клевером и гвоздикой поляны сменялись болотистыми низинами, заросшими стрелолистом и осокой. Был июнь, все цвело и благоухало. Переходя от одной речки к другой, обязательно взбираешься на пригорки, на высокие кручи оврагов, откуда видно далеко-далеко и слышна переключка перелесков, полей, роц и лугов. И часто где-нибудь вдалеке на зеленом холме высится церковь с белой колокольней, все вокруг себя собирая, все к себе притягивая, властвуя безраздельно над этим раздольем, но нет в той вла-

сти ничего насильственного, все готово отдаться ей добровольно. Издали не видно, что церковь неживая, купола голые, кресты или сбиты, или искривлены.

Во время остановок слушали «лекции» Елены Николаевны. Ей хотелось, чтобы мы ощутили, как она выражалась, «магнитное поле родного края».

— Отсюда рукой подать до Сергиева Посада, до лавры, колыбели всего, чем славна Россия, а рядом Киржач, Хотьково, Арсаки, Махра с их монастырями, а по лесам — пустыни, скиты. Эта местность и по сей день излучает особый свет. Многие храмы сегодня в руинах, но музыка, звучавшая в них, жива, и я хочу, чтобы вы услышали ее.

Ночевали в палатках, ловили в реках и озерах рыбу, жарили на костре. Знаменитой переславской ряпушки по прозвищу «царская селедка» на удочки поймать не удалось. Требовалось особое умение. Покупали ее у местных рыбаков.

Широкие улицы одноэтажных городков и сел, по которым мы проходили, заросшие по обочинам подорожником и крапивой, вытекали, словно реки, из полей и лугов и опять в луга и поля вливались. Идешь по такой улице, а в конце ее видишь или ковер из цветов, или колосающееся поле на фоне леса.

К Переславлю подошли в сумерках и решили заночевать на берегу одного из многочисленных узеньких притоков Трубежа. Позднее мы поняли, что Елена Николаевна, смотревшая все время на карту и несколько раз справлявшаяся у встречных прохожих, искала именно это место. Остаток вечера занимались установкой палаток.

Проснувшись, увидели, что разбили палатки невдалеке от лесистого увала, на пологом склоне которого стояла церковь. За разбивкой ночлега мы ее не заметили. Ограда церкви сохранилась лишь частично. Купол ободран, в жести проржавелой крыши — дыры. В прошлом вокруг церкви находилось кладбище, от него вела тропинка к когда-то ближайшей деревне. Деревни давно уже нет, церковь обросла бурьяном и сохранилась, видимо, только потому, что была на значительном расстоянии и от города, и от озера, не имело смысла использовать ее даже под склад. Из-за худой крыши, похоже, и туристы редко располагались в ней на ночлег, разве что грибники забредали, когда жара донимала.

Как всегда после завтрака, собрав палатки и упаковав вещи, мы, каждый на своем рюкзаке, расположились вокруг Елены Николаевны.

— Я еще дома задумала остановиться на ночевку у этой церкви, чтобы продолжить начатый на последнем уроке разговор о связи языческого славянского прошлого со всей дальнейшей историей Руси. У всех религий есть свои символы, выражающие доброе и злое. И у язычников они были. Изображение рыбы, например, всегда было знаком добра, позднее оно стало таковым и у христиан. А вон там, рядом с ним, над фризом вы видите другой знак — свастику...

— Ну и невидимка! Как изловчился, — сказал кто-то под общий смех, — на такую высоту залез.

— Да нет, это не невидимка, — возразила Елена Николаевна, посмеявшись вместе со всеми, — а тот зодчий, что церковь строил, или один из его подмастерьев. Сегодня свастика ассоциируется с гитлеровцами, но то был символ добрый, для большинства людей на земле он обозначал солнечное колесо, вечный свет, был знаком, приносящим удачу, счастье. Бесовские силы всегда рядятся в личину добра. Присвоив себе свастику, они лишили мир этого доброго знака. Вот вам еще одна их победа...

Последние слова Елена Николаевна произнесла совсем тихо, опустив глаза. Потом подняла их, взглянула на церковь и перекрестилась. Мы, потрясенные, застыли в молчании.

— У древних славян свастика была важным символом. В древнейшем нашем храме, Софийском соборе в Киеве, под куполом изображены целые пояса свастик, а между ними — кресты.

По выражениям лиц моих одноклассников было видно, Елена Николаевна явно переоценила степень нашей осведомленности. У большинства в глазах были недоумение и растерянность.

Обычно после рассказов Елены Николаевны на нее сыпались вопросы. Теперь все молчали. Но вдруг прозвучал пискливый голос Скороходова:

— В попах всегда фашизм сидел, всегда они его народу внушали, уже тогда в Киеве...

— Скороходов, ну что ты такое говоришь! Ты же помнишь, я вам рассказывала, какой была Русь при Ярославе Мудром...

— Я не о государстве русском говорю, а о попах, они всегда всё портили, и царей портили, от них все несчастья.

Даже после выпада Скороходова Елена Николаевна не почувствовала, насколько мы еще не подготовлены к ее речам. Словно забыла она, что не воспитывал нас папа-профессор, специалист по древнерусской истории, что Скороходов — сын парторга комбината, а большинство остальных — дети ткачих и прядильщиц, словно сама не училась в школе по тем же учебникам.

Но, должно быть, слова Скороходова ее распалили, в ней еще сильнее заговорил просветительский азарт, и она взволнованной скороговоркой стала рассказывать о Киево-Печерской лавре, о святом Феодосии, о том, что киевская София связывает нас с Грецией и что, если бы не воссиял над днепровскими холмами свет Первозванного и не освятил бы варяжские терема, не было бы ни великой страны, ни Москвы, ни Переславля. Вдруг она осеклась, — видимо, заглянув во враждебные глаза Скороходова или наконец-то заметив смятение на наших лицах, — заторопилась, забормотала, что пора отправляться в путь, скоро полдень, а нам еще ботик Петра надо осмотреть...

— Вот это дело, — одобрительно пискнул Скороходов.

Было бы удивительно, если бы наш поход остался без последствий. Родители кого-то из учеников написали в гороно, что новая учительница занимается религиозной пропагандой и оправданием фашизма. Скороходов клялся, что ни он, ни его папаша к этому отношения не имеют. Думаю, он не лгал. Действовать исподтишка было не в его характере.

«Шить дела» Елене Николаевне не стали — был пик оттепели, в те годы партийные власти, случалось, проявляли нерешительность. Историю замяли на городском уровне. Директриса Подъячева от Елены Николаевны все же предпочла избавиться, перевела ее в одну из школ соседнего района. Жизнь Елены Николаевны сложилась благополучно. По ученой линии она не пошла. Вышла замуж за ярославца — ученика отца, уехала с ним в его родной город и всю жизнь проработала в школе; в одном лишь оказалась «неудачливой»: мечтала о сыне, а родила четырех дочерей. Все годы она ходила с учениками в походы, пешком, на плотах, на лодках, витийствовала, просвещала, и даже выйдя на пенсию, к своему пристрастию не остыла, каждую зиму сколачивала на лето новую туркоманду. Хорошо представляю себе ее, постаревшую, среди школьников и молодых коллег, поющую в лесу у костра свою любимую:

«Так пусть в пути гремит нам гром,  
И путь нам молнией светится!»<sup>1</sup>

Однажды, будучи в Ярославле, я посетил ее.

— Кстати, невидимка с вашим отъездом больше не объявлялась. Спугнули-таки вы его, — сообщил я ей. В ответ глаза ее засветились, и она улыбнулась той странной медлительной улыбкой, так завораживавшей меня когда-то, словно с самого начала осознала: в ее назначении к нам таился особенный смысл, чья-то воля, — из десяти университетских предложений по распределению заставившая выбрать наше Карабаново...

---

<sup>1</sup> Из песни «Туристская оптимистическая».

## Агроном

Директор карабановского сельпромхоза агроном Валерьян Карлович Донауэр был небольшого роста, щупл и узкоплеч, что не очень сочеталось с высокой пышной шевелюрой пепельного цвета, профилем римского патриция и щедрыми формами его супруги.

Когда Машка Донауэр, дождавшись мужа из очередной долгой командировки, у ворот нашего дома заключала его в свои объятия, он проваливался в её пышные груди, как в стог сена.

Кстати, цвет его волос вполне гармонировал с цветом дорожной пыли, неизменно покрывавшей его одежду и обувь. При любых обстоятельствах и по любому поводу он носил наглухо застегнутый темно-серый френч с широкими карманами и стоячим воротником, такого же цвета галифе и хромовые черные сапоги, был хмур и неразговорчив, к чему окружающие относились с пониманием, будучи осведомлены о «постоянных временных трудностях» его отрасли.

С середины 50-х сёла и городские пригороды стали жить лучше. После смерти вождя налоги снизили, закупочные цены повысили, обязательные поставки с приусадебных участков отменили. Позволили держать собственную скотину. Кто-то разумный наверху решил, что деревня сама выкарабкается, если ослабить узду, дать сельскому человеку хоть немножко почувствовать себя хозяином, — пусть «пожирует» на собственном клочке земли, коли останутся еще силы после работы в колхозе-совхозе.

Период жирования длился недолго. Хрущев заподозрил, что личное хозяйство наносит ущерб общественному. Был взят курс на создание агрогородов, где крестьянину надлежало преобразиться в сельхозпролетария.

Для осуществления сего замысла требовался чудодейственный метод. Известный лозунг зазвучал теперь иначе: «Коммунизм — есть советская власть плюс кукурузизация всей страны».

Валерьян Карлович, человек рассудительный, любимой фразой которого была: «В этом деле спеху не надо», в беседах с коллегами о новом почине отзывался неодобрительно: «Кукуруза на Владимирщине? Да он сбрендил, этот Хрущев!»

Ничего, впрочем, особенно смелого в подобных заявлениях не было. Тогда многие и похлеще выражались. Феномен пятидесятых! Всего-то несколько годочков понадобилось после смерти диктатора, чтобы у людей языки развязались.

Возвращался я как-то под вечер из леса вдоль кукурузного поля. Начало сентября, но уже подмораживало. У обочины дороги возле трактора сидел на ржавом ведре тракторист, ел из консервной банки кильки в томате. Я спросил его, почему кукуруза такая чахлая.

— А надо этого придурка в Москве спросить, он про кукурузу больше всех в мире знает. Говорят, окромя её ничё больше не ест. Только от водки не отказывается, а на все остальное даже глядеть не хочет, что на икру, что на лосося. Подавай, мол, мне, жена, кукурузу во всех видах. При этом матерится, недоволен, что другие члены Политбюро отсталые очень, кукурузу жрать не хотят. Початки-то ему, небось, с Украины доставляют... Ну да ладно, пахать пойду, — заключил механизатор, вставая с ведра — нам-то один хрен, что сажать.

— Так уж лучше бы хрен.

— Знамо! — без улыбки ответил тракторист.

Частными разговорами с коллегами Донауэр, однако, не ограничился. Попытка внедрения кукурузы в наших краях, где против говорило все — и климат, и почва, и традиции, была с его точки зрения настолько нелепой, что он, обычно неактивный и немногословный, стал вдруг к общему удивлению просить на собраниях слова и выражать свое резко отрицательное мнение. На практике же Донауэр кукурузу не то чтобы открыто саботировал, но действовал по собственному разумению: отвел под нее лишь небольшой участок, чтобы без особых потерь для производства продемонстрировать неэффективность хрущевской панацеи.

Валерьян Карлович явно перебарщивал. Даже при оттепелном послаблении по части свободы слова и поощрении индивидуальной инициативы, критика линии партии, а тем более сопротивление, никак не одобрялись. Если бы не благоволивший к Донауэру влиятельный не только в районе, но и в областных и даже

московских кругах директор комбината, в подсобном хозяйстве которого Донауэр работал по совместительству, последнему бы не поздоровилось. Все обошлось. Валерьяна Карловича вызвали куда надо, пожурили, посоветовали сбавить опровергательский пафос.

И Донауэр, действительно, перестал высказываться. Но вовсе не потому, что якобы струсил. Истинную причину неожиданной перемены знали лишь посвященные. В один прекрасный момент, осознав, что сопротивляться «велению времени» невозможно, Валерьян Карлович ухватился за как-то само собой возникшую в нем идею вывести особый морозоустойчивый сорт кукурузы, нет, нет, конечно же, не озимый, — как профессионал Донауэр знал, что в силу генетических свойств этой культуры, озимый вариант невозможен — но удастся же дачникам на своих крохотных участках выращивать початки до сахаро-молочной спелости. Из таких вот экземпляров и должен был, по замыслу Донауэра, появиться сорт, способный довольствоваться нашим неярким солнцем.

Понемногу увеличивая посевные площади, Донауэр продолжал эксперимент, и кукуруза росла на его опытных делянках год от году все лучше. Успехами Донауэра заинтересовались в центре. Простили ему период саботажа. Признали его вклад экспериментатора. В местных газетах его сравнивали теперь с Мичуриным и Лысенко.

В Карабаново к Донауэру решил наведаться сам Никита Хрущев. Из Кремля об этом сообщили незадолго до его приезда. Два дня город стоял на ушах. Скребли, терли, белили, красили, и не только в хозяйстве Донауэра.

Дело было в апреле, помню, как вся наша школа мастерила к приезду Генерального бумажные цветы, как мы в срочном порядке учились скандировать: «Если хочешь быть живым, сей квадратно-гнездовым!»<sup>1</sup>

В тот день по пути к нам Хрущев несколько раз делал незапланированные остановки и находился уже в километре от Карабаново, как вдруг повернул оглобли. То ли с похмелья был, то ли экстренные дела позвали.

Наши цветы и транспаранты в один миг поблекли, обратились в никому не нужный хлам. Мы чуть не плакали от огорчения. Сами не знали, о чем больше сожалели, о том, что зря трудились

---

<sup>1</sup> Излюбленный Хрущевым метод посадки кукурузы.



или что Хрущев не увидит нашего Карабаново. И было непонятно, чему так радуется директриса. Она просто запрыгала от восторга при известии об отмене высокого визита. Позднее до нас дошло: накануне в школе вышел из строя мужской сортир.

На фабрике тоже ликовали. Рассказывали, будто парторг Сычева, услышав, что Хрущев не приедет, взглянула на портрет Фридриха Энгельса, висевшего в комнате парткома на противоположной от нее стене, и перекрестилась.

«Оттепель» набирала силу. Слава не вскружила Донауэру голову, он продолжал много трудиться, в обращении с людьми был так же прост и выдержан, но с какого-то времени в нем начала наблюдаться некая странность.

По рассказам его жены, у себя дома Донауэр, запершись в кабинете, мог подолгу громко разговаривать сам с собой, причем на разные, даже женские, голоса. В его лексиконе преобладало при этом слово «кукуруза». Последнее, правда, никого не удивляло, на людях он также говорил в основном о ней. Было известно, во время командировок агроном скупал в книжных магазинах литературу о кукурузе и дарил ее карабановским библиотекам — клубным, фабричным, школьным и даже детсадовским. Машку свою послал учиться на курсы машинописи, чтобы диктовать ей задуманную им книгу, в которой собирался изложить методы поступательного внедрения кукурузы в климатически рискованных регионах. Ел он теперь также по преимуществу кукурузу или изделия из нее. Факт сей засвидетельствован очевидцами, можно допустить, что вышеизложенный рассказ тракториста о пищевых пристрастиях Хрущева — вовсе не преувеличение. Питаться кукурузой Валерьян Карлович заставлял и жену, отчего та еще больше раздобрела, и он ее всем демонстрировал, словно саму королеву полей.

И вот на полях руководимого им хозяйства Донауэр приступил к широкомасштабному внедрению любимой культуры. Лето того года выдалось жарким, долгим, и урожай был исключительно удачным. Но триумфа не состоялось. Руководящими органами успех этот никак не был отмечен, а пресса, как местная, так и столичная, обошла его полным молчанием. Как раз в это время кукурузе по приказу сверху был дан повсеместный отбой.

Донауэр новых директив как будто не замечал. Когда ему осторожно напоминали, он даже не отмахивался — просто не реагировал, словно ничего не слышал.

Как и во времена своего первого «бунтовства», он просил на собраниях слова, самокритично признавал, что глубоко заблуждался, выступая против кукурузы, и что Хрущев был гениально прав, совершил лишь ошибку, действуя скоропалительно, в вопросах селекции ничего, мол, нельзя достичь с наскока.

Сокращению посевов кукурузы в следующем году он не подчинился, отдал под нее почти все посевные площади. Год был дождливым и холодным, урожай кукурузы катастрофически плохим, и хозяйство Донауэра впервые за все время своего существования не выполнило плана заготовки кормов. Даже жалкие показатели соседних колхозов и совхозов, где кукурузу уже два года как повывели, выглядели по сравнению с донауэровскими впечатляющими.

Над агрономом стали откровенно посмеиваться. Мальчишки на улице кричали ему вслед «кукурузник».

Директор комбината пожалел агронома. Когда того отовсюду уволили, придумал специально для него неприметную должность в плановом отделе. Работу свою Донауэр исполнял исправно, о кукурузе не разглагольствовал, начальник планового отдела был им доволен. Приходя с работы, Валерьян Карлович отводил душу: писал письма правительству, лично Косыгину, в Академию наук.

Шло время, и постепенно об истории с Донауэром забыли, даже жильцы нашего дома перестали вспоминать о ней. Более того, большинство из них даже не придали значения тому, что Валерьян Карлович уже много месяцев не появляется во дворе, не сидит вместе с ними на скамеечке у подъезда.

Когда кто-нибудь спрашивал о Донауэре у его жены, та молча и как-то механически вынимала из дамской сумочки газетную вырезку из комбинатской многотиражки и давала интересующемуся почитать: «На очередном открытом партийном собрании директору Н.С. Карпову был задан вопрос, где в настоящее время пребывает товарищ Донауэр. Директор ответил, что товарищ Донауэр некоторое время был болен и в данный период восстанавливает здоровье в ведомственной санатории закрытого типа. Лично с В.К. Донауэром наш корреспондент встретиться не смог, но от сотрудников санатория узнал, что, даже находясь на излечении, агроном Донауэр продолжает упорно работать над проблемой выведения морозостойкого сорта кукурузы. Как среди отдыхающих, так и среди работников санатория у него появилось мно-

го единомышленников. На приусадебном участке санатория у Донауэра имеется своя земельная делянка, где ему разрешено продолжать свои опыты. Деятельность знаменитого агронома находится в постоянном поле зрения научно-исследовательских заведений. По их мнению, эксперименты Донауэра достойны самого серьезного изучения».

Говорят, что Главлит комбината пропустить эту заметку долго отказывался, но обратились к директору, и тот разрешил.

Вырезка из многотиражки со временем истрепалась и каждый раз, когда Машка Донауэр доставала ее из своей сумочки, грозила распасться на мелкие кусочки. Однажды так и произошло. Машка сокрушенно начала было их собирать, но осознав бессмысленность сего занятия, махнула рукой, томно вздохнула, и, вынув из сумочки губную помаду, наредила губы.

## Недостающий бемоль

Слава Ивана Ильича как наладчика ткацких станков гремела далеко за пределами Карабаново. В здешних краях ткацкие фабрики чуть ли не в каждом населенном пункте, некоторые работали на технике морозовских времен, а она часто выходила из строя. На нашем комбинате и в 50-е годы еще пользовались английскими станками конца XIX века. Когда на чужих предприятиях тамошние наладчики не справлялись, звали Ивана Ильича.

Трудились в три смены. После ночной Иван Ильич спал до обеда. Ему нужна была ясная голова, чтобы в остальное время суток предаваться любимым занятиям — игре на балалайке и чтению. Весь наш двенадцатиквартирный дом, помня об этом, ходил на цыпочках.

Балалайкой Иван Ильич владел виртуозно, побеждал на областных конкурсах самодеятельности. Нот не знал, поэтому его в городской оркестр народных инструментов не приглашали. На уговоры учиться нотам отвечал:

— А зачем, я и так любое сыграть могу.

Особенным успехом пользовались его собственные вариации на популярные мелодии. Он любил смешивать радостное и грустное, из трех разных мотивов составлять один, любил эксцентричные выходки вроде подбрасывания балалайки во время исполнения веселой пьесы «Светит месяц» — да так, чтобы она, сделав в воздухе тройное сальто, вернулась к нему в руки, не нарушив темпа музыки.

Но главной страстью Ивана Ильича было все же чтение. Книг он не покупал, брал в библиотеке или у соседей. Особенно любил старые дореволюционные издания с «ерями» и «ятями». Читал Иван Ильич запоем, собрания сочинений прочитывал полностью, ничего не пропуская. Писателей называл обязательно по имени и отчеству, с нежностью: Одоевский Александр Иванович, Аксаков Сергей Тимофеич, Лесков Николай Семеныч, Чехов Антон Палыч... Качество текста распознавал сразу, послевоенные «партизанские» и «производственные» романы не жаловал.

— Так бы и я смог, — говорил он.

Однажды, возвращая книги, Иван Ильич вдруг спросил, кивнув на полки:

— А на кой хрен отец твой подписывается на всех этих Бальзаков и Стендалей? Я вот их не знаю и знать не стремлюсь.

— Напрасно. Диккенс, например, Вам бы полюбился, очень «забирает».

— Не, я русских еще не всех прочитал, что же я этих читать буду, подождут. К тому же, переводчики, может, все переврали, почему знать? Ты вот на пианино тоже все больше нерусские вещи играешь, русских-то я у тебя почти не слышал.

— Какие в музыкальной школе задают, такие и играю.

— Что же они русских-то вам не задают, мало что ли композиторов у нас: Балакирев Милий Алексеич, Лядов Анатолий Константинович, Калинин Василий Сергеевич, Танеев Сергей Иванович?..

— Ну, а как же тогда манчестерские станки? Полвека уже на них ткете.

Иван Ильич ответил не сразу.

— Ты меня не сбивай, не срезай, в тупик не загоняй. То станки, железки, а тут музыка, вещь живая.

Но было заметно, что вопрос мой его озадачил. Он долго молчал.

— Вот ты тут одну вещь играл, я на лестнице, идя к вам, слышал. Как композитора-то зовут?

— Шопен.

— Слышал. А он какой нации?

— Польской.

— Фамилия-то не шибко польская.

— Фамилия французская, но душой — поляк, даже сердце свое завещал похоронить в Варшаве.

— Сердце, говоришь, похоронить? Сердце — не душа. Вот видишь, как у них там: голова в одном месте, сердце в другом, душа мечется, покоя не находит. Это ж надо придумать, частями человека хоронить! Мне тут один приезжий рассказывал, что после смерти Ленина какой-то американец посоветовал мозг Ильича заспиртовать и будто бы мозги эти до сих пор в спирту держат, изучают... Я, когда последний раз в Москве был, очередь в мавзолей

отстоял, полдня потратил... Люди мимо идут и не знают, что у него в голове пусто, точно в моей балалайке. Ведь мы за что Ленина любим? За башковитость! А тут обман получается!

Уходя, сказал:

— Ты там в Шопене своем одну ноту неправильно играешь.

Я сел к инструменту, он на слух указал место.

— Так в нотах...

— Ноты, значит, паршивые.

Вскоре я выбрался в Москву, в музыкальный магазин на Неглинной.

— Вам попался экземпляр тиража с опечаткой, — извинился продавец, — в этом месте следует играть ля бемоль.

## Очки Шуберта

Мартовский вечер. В просторном натопленном классе музыкальной школы у открытой дверцы печки стоит, наклонившись, моя учительница и подбрасывает в огонь березовые чурки. За окном в сумеречном свете видна поленница, заваленная влажным сугробом. Я сижу за пианино и играю заданный на дом «Музыкальный момент» Шуберта, опус 94.

Все больше темнеет. Я уже плохо различаю клавиши, но учительница не торопится включать свет. Слушает мою игру, прислонив спину к горячему кафелю печки, подпевает в такт. Потом поправляет на плечах шаль, подставляет к пианино еще один стул и садится рядом. От тепла ее коленки мне делается жарко, сердце начинает колотиться, и я сбиваюсь с ритма.

Она делает вид, что не ощущает моего смятения, и заставляет несколько раз повторить трудный пассаж. Но чем больше я стараюсь, тем хуже у меня получается. Она садится ко мне еще плотнее и просит играть только партию правой руки, а левой подыгрывает сама. Тепло ее тела постепенно заполняет все мое существо, и я продолжаю играть в полуобморочной истоме...

Бессознательно, но, кажется, благополучно довожу свою партию до конца. Она обнимает меня за правое плечо и на мгновение ободряюще прижимает к себе.

— Видишь, как просто. — Всакивает, подбрасывает в огонь еще одну чурку.

Я сижу ошеломленный, еще не пришедший в себя. Она вынимает из кармашка своей кофты носовой платок и вытирает испарину у меня на лбу и крыльях носа. Ее указательный палец скользит по моему лицу вниз и останавливается на губах. Не в силах справиться с собой, я зажимаю его между зубами, она его несколько секунд не отнимает, насмешливо глядит мне в глаза и, нежно подергивая меня за мочку уха, шепчет:

— Я же говорила, у Шуберта каждая нотка — о любви...

Музыке я начал учиться поздно, уже подростком, надо было наверстывать упущенное. Педагоги-профессионалы у нас не задерживались, приходилось заниматься с доморощенными, а то и по самоучителю. Когда мама узнала, что в городской клуб наконец-то взяли на работу настоящую пианистку, она без всякой договоренности решительно повела меня к ней на квартиру, которую та снимала у семьи, имевшей старинный инструмент.

— Гузель Густавовна, — представилась квартирантка, нисколько не удивившись нашему визиту. Чувствовалось, что она куда-то собиралась, однако во время всего последующего разговора не выказала и тени нетерпения.

Нарядное платье с короткими рукавами и большим вырезом свободно облегло высокую, начинающую полнеть фигуру. Из ложбинки между грудей светился аметистом маленький кулон. Возраст выдавали лишь частые лучики морщинок вокруг глаз.

Кончался апрель, но было по-летнему жарко. Матово-смуглая кожа её оголенных рук и шеи дышала еще не утраченной молодостью. С легкой скуластостью лица и азиатским отливом черных волос непривычно сочетались статность и длинноноготь. Синева больших глаз и высокий лоб были словно призваны примирить это противоречие.

Неодобрительно взглянув на мои некрушные руки, она попросила сыграть. Я исполнил что-то бурное из Бургмюллера.

— Запущен до дремучести, — обратилась она к маме. — В октябре в Александрове открывают музыкальную школу, так и быть, беру его в свой класс, но уговор — оставшиеся месяцы упражняться не меньше четырех часов в день.

Мама беспомощно улыбнулась. Я смело кивнул в знак согласия, хотя не представлял, как мне удастся сдержать обещание, — собственного инструмента у нас не было, приходилось упражняться по вечерам в присутствии сторожа на пианино красного уголка текстильного техникума, где преподавал отец.

В течение нескольких недель Гузель Густавовна занималась постановкой, как она это называла, моих рук, добиваясь их плавного движения и связного звуковедения, а для контроля клала мне на запястье спичечный коробок. Какое-то время он должен был тут удерживаться. Мы разучивали «Прекрасную амазонку» Лешгорна, пьесы для левой руки Беренса, «Школу беглости» Черни и весь альбом «прогрессивных» этюдов Ганона «Пианист-виртуоз».



Меня забавляло слово «прогрессивных».

— Ты хочешь сказать, что в музыке нет «прогресса», — отвечала Гузель Густавовна, — но в технике игры он есть, и ты пока еще в самом его хвосте. Не иронизируй! Вначале давай научимся сидеть в седле, держать осанку. Гарцевать будем потом.

Занимаясь на своем черном раздолбанном «Красном Октябре», срочно купленном родителями по дешевке в комиссионке, я под впечатлением ее слов воображал, что объезжаю породистого вороного.

Она заставляла меня разыскивать по нотным магазинам теперь никому уже неизвестных Бейеров, Кунцов, Тюрков, Мюллеров, — все это была музыка с педагогическим уклоном, так называемые инструктивные пьесы, на которых она когда-то сама училась, считала, что именно они помогут мне форсировать отставание в технике, современных пьес такого же рода не признавала.

Однажды я взмолился: хочу играть настоящую музыку. Она отвечала, что я еще не готов, и продолжала задавать какого-нибудь очередного Гедике, но сама в моем присутствии много музицировала, играла Шуберта, Шумана, Брамса, Шопена. В продаже впервые появились долгоиграющие пластинки. Она их покупала и дарила мне. Родителям пришлось обзавестись радиолой.

Я мечтал поразить мою наставницу и втайне от нее разбирал несколько знаменитых пьес. Впервые в жизни неделями я ничего не читал, не ходил в кино, забросил футбол — лишь бы заслужить ее похвалу.

Преклонение перед ней не мешало мне от урока к уроку все больше хмелеть от одного только вида ее кожи, от линий ее тела, подчеркнутых легкими тканями просторных платьев, от ее замедленной томной походки, от ароматов, исходивших от нее и ее жилья, сплошь уставленного горшками с цветами и экзотическими растениями. Видимо, мне не всегда удавалось скрыть свое состояние, и я ловил на себе ее удивленные взгляды или вдруг замечал на губах усмешку.

То лето наступило необычно рано. Листья деревьев начали жухнуть уже в июле. Короткие частые дожди от зноя не спасали, лишь наполняли воздух душной влагой и преждевременной прелостью. В конце августа было ощущение, что уже бабье лето, правда, непривычно жаркое и душное, и оттого словно неральное.

Обычно я приходил на занятия ближе к вечеру, когда зной начинал спадать. В тот день я пошел на урок раньше обычного, окольным путем, хотел собраться с духом, чтобы на этот раз обязательно сыграть ей самостоятельно выученный отрывок из Шуберта.

Она снимала полдома с большой верандой, куда из-за жары были вынесены из внутренних комнат ее кровать и письменный стол. К веранде вела через сад отдельная калитка. Тут я столкнулся с выходящим из сада Арво, эстонцем, руководившим в клубе танцевальным кружком. В прошлом артист балета, он так же, как и другие, попал к нам на 101-й километр не по своей воле. Неужели тоже берет у нее уроки?

Дверь на веранду была открыта. Я пришел раньше времени, и не зная, как дать знать о себе, отогнул висевшую на двери кисейную занавеску, осторожно переступил через порог и оцепенел...

На кровати справа от двери лежала совершенно нагая Гузель Густавовна.

Она не сразу заметила меня. Выражение ее лица было рассеянным и блаженным, в точности таким же, когда она бывала довольна только что прослушанной игрой ученика.

Увидев меня, она не вскрикнула, не смутилась, даже не шелохнулась. В глазах — ни испуга, ни удивления.

Мы продолжали глядеть друг на друга, она — счастливая и безмятежная, я — в состоянии остолбенения.

Она лежала на спине, заложив левую руку за голову. Правая была откинута в сторону. По шее от мочки уха к ключице спускался свежий след от струйки пота. Одна из слегка раздвинутых ног согнута в колене и подложена под другую чуть повыше щиколотки. Поза, которую я не раз видел в альбомах живописи.

Мои глаза скользили по ее телу, пожирая каждую малость, бесстыдно застывая на черном треугольнике лона, тонувшего в смуглых округлостях живота и бедер. К знакомым настоящим запахам веранды примешивался новый — неведомый, опьяняющий.

Когда наши глаза вновь встретились, она попросила:

— Погуляй в саду, я оденусь...

К нам в город она попала из долгой сибирской ссылки, которую отбывала после восьми лет тюрьмы и лагеря. В конце 30-х училась в ленинградской консерватории, ей прочили блестящее

будущее, но вот был объявлен врагом народа ее отец, Густав Штаден, в прошлом фон Штаден, музыковед, вернувшийся с семьей в начале тридцатых из Латвии в родной Петербург; затем арестовали мать-татарку, известную арфистку. Потом взяли и ее саму (высказалась в присутствии сокурсниц, что глупо, мол, родители поступили, не оставшись в Риге). Лишь через многие годы, уже на поселении, узнала, что ни отец, ни мать заключения не пережили.

Ее долго держали в одиночке, добивались признаний о связях с границей. Затем лагерь, торфяные работы.

Спасла профессия. Когда однажды на проверке надзиратель спросил зечек, кто из них умеет играть на аккордеоне, она вызвалась, хотя ни разу в жизни не прикасалась к этому инструменту. Покорила его за считанные дни, используя на басах лишь три-четыре кнопки, правой же овладела моментально. Со временем она освоила всю басовую клавиатуру и к аккордеону относилась без обычного для серьезных музыкантов пренебрежения. В лагере научилась играть на разных инструментах: щипковых, ударных и даже на пиле.

О лагерной жизни рассказывала неохотно, а если и рассказывала, только нелепо-курьезное, например, как однажды зимой вместе с другими экаками-музыкантами ездил выступать перед краевым лагерным начальством, как их раздели в соответствующую событию концертную форму, а о верхней одежде не позаботились: пришлось напяливать телогрейки, из-под которых у мужчин высывались фрачные хвосты. В таком виде и подбежали на грузовике к городскому театру.

Она не любила и рассказов о лагере. Однажды на учительской вечеринке молодой директор школы решил в присутствии других преподавателей сделать ей комплимент, сказал, что она удивительно сохранилась, не утратила, несмотря на все пережитое, ни молодости, ни женственности.

— Уважаемый коллега, я никогда не сопротивлялась, когда меня насиловали охранники, знала их способы мести и наказания... Скольким они на моих глазах пальцы переломали, а у меня они драгоценные... — ответила она льстецу, не переставая небрежно улыбаться и демонстрировать кисти своих рук. — Так что по лицу и по зубам меня там не били...

В ссылке она жила в Томске, преподавала в музыкальном училище. Замужем не была, детьми не обзавелась. Вернуться домой в Ленинград ей и после освобождения разрешили не сразу, поморили еще три года у нас на 101-м километре.

Однажды, когда мне стало все труднее называть ее по имени-отчеству, а обращаться просто по имени, несмотря на ее предложение, я всё не решался, она с ухмылкой раздраженно предложила:

— Зови меня **Fräulein von Staden**.

...В сад Гузель спустилась в шелковом китайском платье-халате с небольшим подносом, на котором стояли два стакана воды и лежал большой разрезанный надвое лимон. Села на скамейку рядом, выжала лимон в стаканы:

— Вот настоящий лимонад, именно такой подавала Луиза в «Коварстве и любви». Мы оба молчали, я — еще смущенный, она — рассеянно глядя вглубь сада.

— Знаешь, я сейчас вспомнила, как девочкой ездила с родителями в Вену, мне было тогда чуть больше тринадцати. Отец таскал нас с мамой в оперу, в оперетту, по концертам и музеям знаменитых композиторов, а их там, музеев этих, великое множество. Все они у меня потом в голове перемешались — всё затмили разбитые очки Шуберта, лежащие под стеклом на исписанном нотном листе, да, да, те самые, круглые, с маленькими стеклами, в которых его всегда изображают. Ведь его распирало от мелодий, он даже спал в очках, чтобы, проснувшись, сразу записать явившуюся во сне мелодию. Служительница музея уверяла, что очки упали на пол, когда он узнал, что девушка, в которую он влюблен, обвенчалась с другим. Он выбросил эти очки, но его друг, художник Мориц фон Швиндт, их подобрал и сохранил для потомков. Говорят, что это легенда. Музеи любят легенды. Я все смотрела и смотрела на эти очки, оторваться не могла. Тогда я впервые поняла, ощутила, как хрупка наша жизнь, наши планы, все земное, например, вот эти наши с тобою пальцы...

Она взяла мою руку.

— Как крылышки стрекозы... Он все знал об этой непрочности и незащитности, потому и сказал, что негрустной музыки не бывает... А еще там было его последнее письмо, написанное за два-три дня до смерти одному другу. Уже одиннадцать дней он болел, ничего не мог ни есть, ни пить, лежал с высокой температурой и читал, и знаешь кого — Фенимора Купера. Кто-то принес — отвлечь от болезни. Он всё прочитал: «Последнего из Моги-кан», «Шпиона», «Лоцмана», «Пионеров»... В той последней своей записке он просит прислать ему еще Купера... Я, вернувшись

в Ригу, все эти книжки Купера в рижской библиотеке нашла, те же самые немецкие издания 20-х годов девятнадцатого века, и тоже читала ровно одиннадцать дней, хотела физически прожить его последние дни, часы, хотела как можно ближе приблизиться к той последней нотке, к той последней вдруг лопнувшей в нем струнке... И когда уже почти совсем приблизилась, мне стало страшно от этого моего фанатичного желания постичь, зачем бедному Шуберту в его последние дни были посланы судьбой эти книги, эта радость чтения о таком далеком, таком чужом ему мире, все эти морские пираты, первопроходцы, индейцы-зверобои... постичь непостижимое. Он ведь за все тридцать два года жизни из Вены дальше Граца не выбирался. И никогда не был страстно любим. Жажда неведомого так похожа на тоску по любви. Он обожал застолья с друзьями, вино, розыгрыши, веселье. Но даже в самые озорные минуты радости его взгляд, говорят, становился вдруг отдаленным и грустным...

Она встала со скамейки:

— Пойдем, я знаю, ты давно уже хочешь сыграть мне отрывок из «Фантазии» Шуберта.

— Откуда вы знаете?

— Я все про тебя знаю...

Затем были осень, зима и весна, прошедшие как в дурмане, и снова май и длинное лето, наши блуждания по лесам, по полям, купание в речке среди лилий и кувшинок и неотвратимый день ее отъезда... На прощанье она взяла с меня слово, что я обязательно приеду в Петербург (она никогда не говорила Ленинград, но и не употребляла фамильярного Питер), а потом мы поедем в Ригу и она покажет мне тот **Blüthner**, на котором училась играть и который её отец оставил одной тамошней семье, наверняка он сохранился, и мы сыграем Шуберта, ни один композитор не написал столько для игры в четыре руки, у того **Blüthner**'а божественный звук...

От неё приходили письма, вначале радостные и возбужденные, но вскоре одно печальнее другого и, наконец, совсем жалостливые. Ей очень одиноко, она никак не ожидала найти Петербург таким чужим — не осталось почти никого из знакомых, аресты, блокада, эвакуация начисто смыли прошлую жизнь. Настоящей работы пока не нашла, перебивается частными уроками и впервые в жизни впадает в отчаяние.

Звала меня поступать учиться в Петербург, однако мои родители воспротивились, и мы договорились, что я приеду к ней в первые же каникулы.

Но письма вдруг перестали приходить, мои же возвращались назад.

Приехав позднее в Петербург, я долго ее искал, в том числе и среди умерших. У домоуправа по ее бывшему адресу сведений о ее новом месте проживания не оказалось. Разузнав, что у рода Штаденов был свой фамильный участок на одном из петербургских кладбищ, я в последней надежде отправился его разыскивать, и прекратил поиски, выяснив, что кладбище было наполовину закрыто еще в сороковые годы, а участок Штаденов находился как раз на той, ныне застроенной новыми домами половине.

Бродя по городу, я, сколько ни старался, не мог себе представить Гузель ни среди озабоченных и хмурых ленинградцев, ни среди гуляющих толпами по Невскому всесоюзных туристов. Силился разглядеть ее образ в отражениях облаков на тревожной ряби каналов, в солнечных бликах листвы на аллеях парков, в мерцающих в тумане окнах и в полумраке зрительных залов.

Несколько раз писал в Томск по месту ее последней ссыльной работы, разыскивал ее в Риге, но ниоткуда не получил ответа, в те годы только родственники имели право заявки на розыск. От Гузели я знал, что родственников у нее не осталось.

Через много-много лет в Вене, в музее перед витриной с очками Шуберта я вдруг почувствовал за спиной ее живое дыхание, ощутил прикосновение ее щеки к своему плечу.

— Я же говорила, — сказал ее голос, — у Шуберта все о любви... Даже трещинка на очках. Если долго-долго смотреть, она исчезает...

## Дед Игнатий

Во второй половине пятидесятых бывший кулак Игнатий Гурков вернулся из Сибири в родные владимирские края. Не потому, что, перестав числиться спецпоселенцем, получил право «свободы передвижения». Причиной возвращения была любимая внучка Нюра, после окончания ивановского медтехникума попавшая по распределению в Карабаново и проживавшая в нашем доме.

Замужняя Нюра работала на скорой помощи, маленький болезненный сын в детский сад ходить не мог, и Нюра в отчаянии, хотя и без особой надежды, написала в Тюмень жившему в одиночестве деду, просила приехать понянчить правнука. И тот неожиданно согласился.

Ехал дед Игнатий на родину после двадцатипятилетней разлуки со смешанными чувствами. В его бывшей усадьбе в селе Ивановское располагались теперь сельсовет и колхозный клуб, и ему впервые в жизни предстояло жить в городской квартире.

Единоличного хозяйства после раскулачивания и выселения в Сибирь он заводить на новом месте не стал, но и в колхоз не пошел, работал счетоводом тюменского леспромхоза. Однако дом свой все-таки поставил, приусадебный участок обрабатывал так, что продуктами с него, несмотря на тамошний климат, кормил всю семью.

Овдовев и оставшись один в большом доме, скотины не держал, жильцов не пускал, овощи и фрукты продавал на базаре, а вырученные деньги посылал разъехавшимся в разные концы страны детям — всем поровну.

Письмо Нюры пришло в октябре, когда яблоки, ягоды, огурцы, чеснок и черемша были уже замочены и засолены, крыша залатана, забор подправлен, а сад и огород подготовлены к зиме. Дед Игнатий продал домашние заготовки потребсоюзу, повесил на двери замок, но ставен заколачивать не стал, отдал дом и сад под надзор соседа, такого же, как и он, старика.

Багаж деда Игнатия — рогожный баул, деревянный чемодан и кожаный саквояж, купленные им еще до войны на тюменской барахолке, всё дореволюционного образца, привлекал внимание. К тому времени такое можно было увидеть только в кино. Кое-что у деда Игнатия сохранилось и из личных вещей: хотя в ссылку разрешалось взять лишь самое необходимое, он умудрился укрыть от охранников табакерку, часы на цепочке, трубку с кисетом, зубочистку из слоновой кости и роговую расческу, которыми дорожил и всегда носил при себе.

В его одежде за последние пятьдесят лет также мало что изменилось. Зажиточно-крестьянское сочеталось в ней с уездно-купеческим: летом в будни он ходил в рубаше-косоворотке навыпуск, подпоясанной узким кожаным ремешком, хлопчатобумажные темные порты заправлял в хромовые сапоги с приспущенными гармошкой голенищами. В праздники носил рубашку из отбеленного холста, украшенную вышивкой по разрезу на груди, по вороту и манжетам рукавов, а поверх надевал жилетку с кармашком для часов и полукафтан, или, как он называл его сам, «пинджак». В зимнее время облачался в штаны из сукна и полушубок. Валенки не обувал никогда, лишь порой овчинные бахилы, на которые в слякоть натягивал галоши, сапоги чистил жирной черной ваксой, изготовлявшейся им самим из сала, сажи и свечного воска.

Длинные усы он закручивал наверх, брил подбородок опасной бритвой, одеколонов не признавал, умывался хозяйственным мылом, после чего смазывал лицо и руки топленым маслом.

Какое впечатление он производит на других, деда Игнатия не интересовало, в его привычке так одеваться не заключалось никакой непочтительности к окружению и тем более фрондёрства, — ему в современной одежде было просто не по себе, она не соответствовала ритму его движений и манере держать осанку.

Последняя была главным отличительным признаком в облике деда Игнатия. Несмотря на свои семьдесят пять, он ходил с расправленными плечами, прямой спиной, слегка откинув назад и склонив направо голову, отчего создавалось впечатление, что на все он смотрит насмешливо и как бы со стороны.

Живя у Нюры, дед Игнатий закупал семье продукты, готовил обед, читал правнуку книжки, свободное же время проводил на скамейке у подъезда, беседуя с подвернувшимся соседом.



Из этих разговоров я кое-что уже знал о жизни деда Игнатия. Со мной он заговаривал редко. Однажды, летом 1961-го, он вдруг жестом пригласил меня к себе на скамейку, стал расспрашивать о житье-бытье, что я расценил как признание своей взрослости, — мне было почти семнадцать. Накануне в Сибирь вернулась к больному сыну, моему дяде, наша бабушка, жившая до этого с нами — наиболее желанная и частая собеседница деда Игнатия, и он, видимо, затосковал.

— Звал я её с собой в Тюмень, ведь она тоже, считай, сибирячкой стала. У нас с ей жизни схожие. Ну и что ж, что вера разная, все одно — христиане. Я в энтих вопросах независимый. Ответила, что к сыну Виктору в Канск ей надоть, хворый он, с тюрьмы и лагеря хворый. И жена у сына есь, а мать не заменит. Не посмеялась надо мной Терезия Августовна, и на том спасибо. И я вскорости к сябе в Тюмень отправлюсь. Чай, отпустит мяня Нюра, Валерка-то вон совсем подросток.

— Мы тоже скоро на новое место переберёмся, отцу работу в Купавне под Москвой предлагают.

— Ну, это неподалёку, боровские края с нами сродственные. И народ там на наш похожий, токо не окает.

Наши беседы стали более частыми, после того как я, чтобы развлечь его, рассказал про плакат, что висел у клуба: «Заставить корову утроить надои!»

— Я таких плакатов да лозунгов, которые щас в газетах, молодым насмотрелся-начитался. Не уймутся всё, мамай. Брат из-под Рязани пишет, почин энтот новый насчет «догоним-перегоним по мясу-молоку» совсем ихний колхоз разорил. Скотину подчистую порезали, под нож приплод пустили, даже быков, у соседей масло в магазинах скупали, чтоб в зачет молока продавать, план в три раза перевыполнили, тяперь голодные сядят. В школе половину комнат под крольчатники оборудовали. А энтот указ о городах и поселках, который скотину держать не дает! Я тут по окраинам хожу — словно вымерли, а еще нядавно у каждого корова, поросята, козы. Не, не, зямля не допустит, чтоб вечно так было, разбой такой. Смятёт их всех, непотребных, пошто они ей! Другие люди народятся, нормальные, природные, что средство знают, как жить.

— А вы знаете?

— А нешто не знаю, и бабушка твоя знает, она ведь тоже с детства к зямле приучена. Мы с ей про то кажинный день говорили,

дивились, как эти партейцы в ум не возьмут: в мужицком деле «скачков» не надоть. Дайте землю, не кажите, что да как сажать и кому опосля урожай продавать! Через несколько годочков всех накормят.

Изредка дед Игнатий крепко выпивал. Но нетрезвым за порог квартиры не выходил. Что он пьян, было слышно по повышенным тонам, доносившимся из-за двери. В такие дни он обычно «наезжал» на внучатого зятя, тихого, неразговорчивого инженера-электрика, не перечившего деду даже во время совместных возлияний. Дед кричал:

— Что все молчишь, Лёнька, душа болит али страшно? Кого боишься-то? Ежели Бога, то хорошо. А мяня не бойсь, открой душу, лехче будет... Или в церковь пойдем, покаешься.

Можно было только догадываться, что дед имел в виду.

Лишь много позже узнал я о тайне Алексея. Юнцом он попал в плен, работал в Германии на военных заводах, батрачил у богатого крестьянина, затем бежал, сдался американцам, какое-то время воевал на их стороне. Поэтому русским они его сразу не выдали, включили в состав группы, занимавшейся передачей НКВД военнопленных и других советских граждан, находившихся в американской зоне. На студебеккерах перевез Алексей в распоряжение советских властей тысячи человек. Уверял деда Игнатия, что не знал, какая судьба их ждет. Затем американцы выдали и самого Алексея. После допросов и долгой проверки его отпустили на родину, не направили в фильтрационный лагерь для советских лиц под Дрезденом. Миновала его их участь. Видимо, зачли студебеккеры с «добровольцами».

Хотя 1961 год и был самым «разоблачительным» и никогда до этого о сталинских репрессиях не говорилось столь открыто, тема насильственной коллективизации оставалась запретной. Публично сомневаться в необходимости колхозов директивы не было. Дед Игнатий, однако, о сельскохозяйственных премудростях Хрущева высказывался без обиняков:

— У нас в дярвене таких балаболов сколько хошь было. Я их даже до косилки не допускал.

Собеседники деда Игнатия пугливо озирались, но слушали с удовольствием.

В паузах между непрерывным курением он нюхал табак, чихал громко, на весь двор. Приговаривал:

— Мозги просвятиляет. Если бы в правительстве табак нюхали, колхозы давно б отменили.

Со мной он разговаривал, не утруждая себя политическими и историческими подробностями недавней эпохи. По его мнению, я, потомок репрессированных, в объяснениях не нуждался. Тут он ошибался. Ни бабушка, ни родители в те годы столь откровенны, как он, со мной еще не были.

— У советской власти с нами, мужиками, отношения особые. Она всё про народ толдонит, но народ для няё — это только рабочие. Мы же элемент инородный... Поскольку независимые. Вот и превратили мужика в сельхозпролетария. В 1927 году в крестьянскую жизнь еще не так вмешивались, нясильно давили. Но домами уже бредили. Ты вот мяня спрашивал, почаму Декрет о земле в 17-м году такое впечатление на нас мужиков произвел? Да потому что и здесь обманом взяли. Ведь народ на Руси общиной жил, зямелюшка внутри общины обращалась. Не распознал тогда мужик на радостях-то разницы между общинной зямлей и казённой. В общине на личную долю никто не покушался. А тут и она стала обчая. Даже эта, ну как яё... продразверстка мужиков не сломила, обнищали, но всё на войну списали, саму-то землю ящё не забрали. При НЭПе и вовсе про энту продразверстку не вспоминали. Но тут уполномоченные пожаловали. Начали недоверие сеять к чужому достатку. А в русском человеке это недоверие с давних пор живет. Богатство-де лишь обманом и сколотишь.

А знаешь, чем уполномоченные в конце концов взяли: совсем жалости у них не было, она у них вроде гряха считалась. Они и дятей наших тем гряхом пугали. Учили в школе родных травить. Я со своими дятями справлялся, никого до них не допускал.

В 29-ом лишенцем стал — права голоса лишили. На сяле меня уважали, — но нихто не заступился. Потом заем придумали, заставляли облигации покупать. Бабы их опосля внутри комодов и сундуков клеили. Когда потребовали вязти на рынок семенной хлеб, мужики зерно стали прятать. Я тоже прятал. На выселках, в лясу. У несговорчивых вещи отбирали, инвентарь, сено накошенное. В стадо скотину не принимали. Люди избы заколачивали, в город уходили. Были такие, что с ума сходили или руки на сябя накладывали. Но больше пить начинали. Этому начальство способствовало, на массовые гуляния водку привозило — тоже способ у людей последнюю копейку выкачать.

Потом под корень стали грабить. У мяня дом отобрали, баню, амбары со скотиной. Остался один с пятью детьми в маленькой пристройке к усадьбе. Долго не выселяли, знали, что у меня яще запасы есть, но найти не могли. Тогда стали расстрелом грозить. Тут я сдался. Попросил, чтобы оставили хоть пудов десять. Не оставили.

Предложили в колхоз вступить. Но даже бедняки в колхоз ня шли. Спярва некоторые вроде бы согласились, а потом побежали, в Александровском уезде в тридцатом году перед посевной в колхозах никого не осталось.

Вот тогда и пошла колхозная принудилровка. У кого яще чего оставалось, бросились за бясценок продавать. Скот под нож пускали, варили и тут же съедали.

Про сам процесс выселения дед Игнатий рассказывал скупо, начинал, но при первых же фразах замолкал. Слюну сглатывал. Я ждал, не торопил.

— Кулаков ссылали накануне зимы, а многие семьи зимой, в самые морозы. Кто сопротивлялся, убивали на месте или в про-руби топили. Официально выселяли на три года, но все понимали, что навсегда. Кое-кто в город перебирался, но их и на фабриках травили. Я случаи знаю, когда с женой разводились, чтобы хоть сямью не ссылали, или дятей за бедняков выдавали. Надеялись вярнуться...

Пришла очередь и за дедом Игнатием. Оставили немного денег, кое-что из одежды, да на три месяца продовольствие. Хорошие полушубки отобрали, дали взамен рваные.

Путь в ссылку был самым страшным из пережитого. Куда их везли, они не знали. Конвоиры могли бросить людей посреди реки на барже под дождем или в запертом товарном вагоне на запасных путях и уехать на несколько дней на гулянку, не оставив ни воды, ни пици.

Полгода прожили на пересыльных пунктах, потом в землянке. Хорошо, что на крайней север не загнали или в топи уренгойские. Из тех, кто туда попал, никто не вернулся.

Однажды дед Игнатий сказал мне:

— Три года как снова на родине живу, а в сяле своем не был. Когда услышал, что могилки все порушены, решил, что ноги моей там ня будет. Но тяперь думаю, надо бы все же съездить... Компанию не составишь?

Газик для поездки достал в соседней воинской части зять Алексей. Шофер, молодой солдатик, был не из местных, и деду Игнатию доставляло удовольствие показывать ему дорогу. Ехали довольно долго, с остановками, дед Игнатий маршрут выбрал околный, хотелось проехаться по знакомым местам.

Попросил остановиться у небольшого запаханного на зиму поля. Пройдясь вдоль крайней межи, вынул из кармана холщовый мешочек и, загребая рукою сырую землю, наполнил его до краев.

В другой раз попросил тормознуть у невзрачного перелеска. Подошел к старой березе у дороги. Прислонившись спиной к стволу, смотрел ввысь сквозь желтую поредевшую крону.

Перед Ивановским заехали на кладбище. Дед Игнатий долго ходил среди могил, но тех, какие искал, не нашел, сел на пенек и опустил голову на клюку.

Водитель-солдатик за все время поездки ни разу не выказал нетерпения, уважительно дожидался в машине.

Родное село дед Игнатий предпочел обзреть из окна машины. Под конец попросил шофера свернуть к сельсовету, а мне сказал, чтобы сопровождал.

Войдя в здание, никого не приветствуя, прошел через бывшую большую прихожую и, остановившись перед одной из комнат, решительно рванул дверь. Она оказалась запертой. Он постучался, женский голос крикнул изнутри, что обеденный перерыв.

Кабинет председателя сельсовета располагался в бывшей горнице. Отстранив клюкой секретаршу, преградившую было ему путь, дед Игнатий вошел и, не поздоровавшись, сообщил, что он, Игнатий Гурков, владелец сего дома, требует немедленно открыть такую-то комнату, бывшую комнату его матушки.

Председатель удивленно выпучил глаза и хотел, вероятно, что-то сказать, но произнес только «А... а...», сел и замолк. Вбежала секретарша и объяснила, что там помещение бухгалтерии, куда посторонним вход запрещен, и вообще сейчас — время обеда. Председатель в подтверждение ее слов лишь кивал головой.

«Открой нямедля!», — гневно приказал дед Игнатий и с силой ударил клюкой по столу председателя. Тот с воплем вскочил и мигом исчез. Кабинет заполнили крикливые сотрудники, за стеной кто-то громко вызывал по телефону участкового милиционера.

Держа перед собой клюку, словно дубинку, дед Игнатий направился к дверям бухгалтерии и колотил по ним до тех пор, пока они не открылись и из них не выскочили две перепуганные сотрудницы.

Комната была уставлена конторскими столами и шкафами, увешана стендами и таблицами. За ними обои, которыми оклеили комнату еще в 1910-м году, полинявшие, но еще хорошо сохранившиеся, — красные и желтые лилии на зеленом фоне.

Он кланялся стенам, каждой в отдельности, крестился. Подойдя к окну, замер, и долго смотрел на деревья бывшего сада и дальний холмистый лес. Потом резко повернулся и пошел прочь.

Выходя из дома, показал мне зарубки на внутреннем брусчатого косяка:

— Это отец на мои именины каждый раз мой рост отмячал.

Грузный немолодой милиционер приехал в тот момент, когда мы сходили с крыльца. Увидев деда Игнатия, он встал навывтяжку, втянул, насколько мог, огромный живот и пролепетал: «Игнатий Панкратыч!»

Дед Игнатий двинулся к машине, даже не посмотрев в его сторону. Самостоятельно забрался в высокий газик.

— Обрато коротким путем поедем. Я покажу.

## 12 апреля 1961 года

В тот безоговорочно солнечный день занятия в музыкальной школе начинались во вторую смену. По случаю полета Гагарина их не отменили, но о полноценной учебе не могло быть и речи. Великое событие вытеснило все остальное.

Вторым уроком была «Музыкальная литература». Ее вела молодая учительница из Москвы. Она приезжала на занятия на электричке, тратя на дорогу туда и обратно больше пяти часов. Ходили слухи, что она влюблена в нашего директора.

Я старался не пропускать ее восторженных рассказов о музыкальных эпохах и композиторах. Высокая, узколицая, она носила длинные платья, темно-серые и черные, с глухим воротником-стойкой, плотно облегавшие ее фигуру и выглядевшие старомодно, но эта ее манера одеваться, как ни странно, никого не смущала, принималась как черта ее индивидуальности. Выпадавшие из прически русые локоны на бледных, слегка впалых висках и нитка бисерных бус дополняли образ.

Мне тогда казалось, что во внешности учительницы соединились вместе все русские литературные женские типажи: пушкинские героини, тургеневские девушки, таинственные незнакомки эпохи модерна. Этому впечатлению способствовали какая-то природная естественность в обращении с нами, учениками, и при этом приподнятая интонация речи, энергичная плавность движений и походки. Даже то, как она, не успев пообедать, жевала при нас купленный на вокзале пирожок, каждый раз извиняясь, то, как сдержанно и неторопливо двигались при этом ее закрытые губы, казалось мне воплощением самого изящества и отражением загадочности ее натуры.

Весной и осенью к платьям с укороченными рукавами она носила узкие перчатки до локтей. Летом — нитяные ажурные, в более холодное время — лайковые или шерстяные. Вероятно, они достались ей в наследство от матери или бабушек. Уверен, что ношение их не было вызвано лишь физической необходимостью, скорее стремлением к завершенности формы.

Обычно она опаздывала. Запыхавшись входила в класс, сразу вызывала к доске какого-нибудь ученика, и пока тот отвечал, медленно снимала перчатки. Процесс этот занимал довольно продолжительное время. Мы заворожено следили, как, подергивая кончики пальцев перчаток, она постепенно стягивала их, как вначале оголялись локоть, потом запястье и, наконец, узкая рука с заочно длинными пальцами.

В тот апрельский день она пришла сияющая, покрасневшая от быстрой ходьбы, вошла в класс прямо в пальто и, сняв его, небрежно бросила на спинку стула. Она впервые снимала перчатки торопливо, резкими движениями. Перчатки не поддавались, сопротивлялись, но в конце концов подчинились. Сняв вторую перчатку и бросив на стол, с горящим взглядом она воскликнула:

— Как мы америкашкам-то нос утерли, а!  
Села за пианино и громко сыграла туш.



## Дырка в носке

Отцу в его жизни часто приходилось менять места проживания. И где бы он ни поселялся, какой бы пост ни занимал, местные спецотделы никогда не оставляли его без внимания.

Выражалось оно довольно однообразно. Соседей время от времени посещал какой-нибудь человек и расспрашивал об отце, о семье. И всегда находился кто-нибудь, кто отцу или маме под большим секретом про те посещения сообщал.

В начале шестидесятых, когда родителям уже было под пятьдесят, мы перебрались в Подмосковье, в поселок Старая Купавна. В пятиэтажной хрущобе, где нам дали квартиру, жили в основном люди пришлые, бывшие деревенские из соседних и дальних областей, работавшие на местном химзаводе или текстильном комбинате по найму. Народ разношерстный, загульный.

В нашем крыле проживало несколько безнадежных пьяниц. Поначалу они повадились занимать у отца на выпивку. Отец их быстро отвадил, исключение делал лишь для одного, разнорабочего химзавода Валентина. Как для одногодка и земляка. Валентин тоже был родом из Царицына.

Долг Валентин в день получки всегда исправно возвращал, подчеркивал, что обращается к нам лишь в критические моменты. Несколько раз предлагал «раздавить четвертинку», но отец отказывался.

— Ну и зря, порой и непьющему выпить нужно, особенно, когда хандра одолевает. Вы вот, Вениамин Александрыч, бывает, по парку грустные гуляете. Я в таком случае всаживаю стакан — и сразу, как пионер!

Однажды утром в будний день Валентин явился в костюме и в галстук. Выбритый, постриженный, пахнущий одеколоном. Никогда мы его таким прежде не видели, даже на майской демонстрации.

— Прогуляться не желаете? — обратился он к отцу с порога. — При этом заговорщицки подмигнул, приложил указательный палец к губам и кивком головы показал на выход.

Отцу не хотелось идти, но уж очень необычно вел себя Валентин.

Он потащил отца в парк к озеру, по дороге вдруг вынул из кармана четвертинку и предложил выпить. Отец, завороженный его поведением, на этот раз согласился. Закусили конфеткой, припасенной Валентином.

— Ну вот, Александрыч, уважил. Выпил со мной. Еще ни разу я с таким образованным не пил. Уж извини, что я тебя на «ты».

Сели на лавочку перед озером, на другом берегу краснели корпуса фабрик.

— Давно я тебе, Вениамин, хотел это сказать, да все как-то не решался. Тут к нам в дом один хмырь из Ногинска повадился, из органов... плюгавенький такой...

— Да слышал я, люди доложили.

— А они тут при чем?

— Видно, не к одному тебе обращался.

Валентин был явно смущен. Он с досадой выругался и вынул из внутреннего кармана пиджака вторую четвертинку. Отец помог ему распить и эту.

Некоторое время сидели молча.

— Слушай, Александрыч, я думал ГБ — контора богатая, а этот в последний раз с дыркой в носке приезжал, в сандалиях, да и костюмчик на нем плохонький... Три года уж это длится, Александрыч, три года я им про тебя докладую, ты уж извини, но я все только хорошее, я окромя хорошего про тебя ничё и не знаю: начитанный, мол, ты, с книжкой в парке гуляешь, другие вон все больше телевизор смотрят, а ты радио слушаешь, даже по ночам слушаешь, одногодки твои из разных краев к тебе навевываются, ну те, с кем ты вместе в лагере вкалывал, ты мне сам рассказывал, молодежь к вам разная из Москвы приезжает, шумит, гуляет, на гитаре играет, одну песню я даже записал, слова мне понравились: «Я из пивной иду, я коммунизма жду...», ну, рассказывал еще, что жена твоя немецкий на дому преподает, песни немецкие с учениками разучивает, ну и еще, что тебе... простату резать собираются...

— А это откуда тебе известно?

— Зинку Окуневу, медсестру из третьего подъезда, знаешь? Она мне по пьянке рассказала. Этот из органов заинтересовался. Похвалил меня даже: важную, сказал, Валентин, информацию сообщаем...

— Тебе-то зачем это, иль испугался?

— Я?! Их?! А чё мне их пугаться, чё они мне сделают — с работы погонят? Так я сразу другую найду, в моей работе политики нет, газ нюхать кому хочется...

— Так откажись...

Валентин помолчал, вздохнул.

— Тут такое дело, Александрыч, подмазывают они меня, понимаешь, ну, вроде как бы на водку дают, чтоб я тебя пас. Я так рассудил: что мне их деньги-то беречь, все равно кому-нибудь другому достанутся...

— Что ж, раз рассудил, стало быть, все в порядке. Я-то тут при чем?

— Александрыч, выдохся я... Меня этот хмыренек вчера упрекнул, повторяться ты стал, Валентин Иванович. Ну, думаю, раз по имени-отчеству назвал, плохи дела. А что мне еще рассказывать, ведь я ж за тобой не слежу, в щелку не подглядываю, а врать не хочется — я и подумал, может, ты мне какие сведения на себя дашь, тебе ж все равно, а у меня такой источник накроется. Глядишь, я их еще годик-другой подою...

Завыл фабричный гудок. Чайки и вороны испуганно взлетели над озером, заметались на фоне задымленного неба. Отец посмотрел на птиц, на воду, на чахлые тополя.

— Дырка, говоришь, у него в носке? Одинокий, видать, штопать некому...

## Власенко

В 1968 году, окончив вуз, я пошел работать на радио. Наша редакция выпускала общесоюзные программы. Во главе ее стоял некто Власенко. Правый глаз его был залатан бельмом. Левый глядел тускло и напряженно. В первый же день он вызвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Надеюсь, Вы понимаете, что вливаетесь в ряды бойцов идеологического фронта. Здесь у нас, как в армии. Только оружие наше — перо. Вы служили?

— Нет, не служил.

— Но в институте у Вас была военная подготовка.

— Была. Но я рано перешел на вечерний. А там ее не было. —

Вы хотите сказать, что Вы, так сказать, необстрелянный.

Что ж, будем Вас обучать по ходу боя.

И громко рассмеялся, разинув рот, полный золотых зубов, шариков и плоских.

Начальника отдела, куда меня определили, звали Федько. Высокого роста, он при ходьбе слегка выбрасывал ногу, словно маршировал. За глаза его называли «ать-два». Ему-то и было поручено заняться моим обучением. Едва представившись, он сказал:

— У нас тут, как на фронте. Всегда помним, что мы как бы на баррикадах. Или, если хотите, в окопе. Высовываться нельзя.

Не успел я проработать и нескольких недель, как советские войска вошли в Прагу. Придя утром на работу с небольшим опозданием, я удивился совершенно пустым коридорам. Обычно по ним уже сновали симулирующие активную деятельность работники. Теперь они, похоже, старались не показываться друг другу на глаза. Курилка тоже была пуста. В редакции — сплошь унылые лица. Все понимали, что грядет новая пропагандистская волна, что отмолчаться не удастся.

Было объявлено: в 14.00 в актовом зале общее собрание. Явка обязательна. Как потом стояло в редакционной стенгазете: зал не мог вместить всех *нежелающих* — кто-то тайком приписал «*не*».

Осуждение Дубчека и сообщников, восхищение действиями армий стран Варшавского договора было единодушным. Особенно усердствовали женщины предпенсионного возраста. Распаляясь, доходили до истошного крика.

— Наши отцы и мужья освобождали в 45-ом Прагу... там лилась наша кровь... мы не оккупанты, но нам не может быть безразлично, что творят в Праге агенты реваншизма... неблагодарные чехи, мы их кормили все эти двадцать лет, последнее от детей отрывали...

И тут из первых рядов поднялся небольшого роста лысоватый человек в замшевой курточке и попросил слова. Все его знали. Он заведовал редакцией «Родина», вещавшей для соотечественников за рубежом. Фамилия его была, кажется, Романов. В отличие от остальных он заговорил негромко и ровно, словно пытался успокоить зал. Сказал, что напрасно мы боимся слова «оккупация», что слово это из латыни и означает «временное насильственное занятие чужой территории без приобретения суверенных прав на нее» и что важно сейчас другое: не впадать в крайность, сохранить чувство реальности, не быть несправедливыми, никого мы не кормим, торгуют чехи с нами на равных, свои трамваи обменивают на наше сырье, скорее мы порой заставляем их брать то, что им не нужно, что чехи наши традиционные друзья, что случившееся ужасно, что давайте, мол, думать вместе, как выходить из этого положения, и потом, что из того, что мы их в 45-ом освободили? Что же им теперь из-за этого отказываться от самих себя...

Кончив говорить, он вернулся на свое место. Зал напряженно молчал. Все смотрели на главного. Тот тоже, видимо, опешил, сидел, насуплено соображая, как реагировать. Но вот тяжело поднялся и, не выходя из-за стола, хрипло, словно через силу, прокричал:

— Это для одного только Романова освобождение Праги от реваншистской нечисти — оккупация, чуждая нам идеология давно оккупировала его душу. Он тут нас призывал «думать». Ну так пусть сам и думает! Нам с вами и так всё ясно!

Его единственный зрячий глаз, обычно тусклый, сверкнул в зал подобно сигнальному огню. Он сел, отдав Романова на растерзание. До сих пор зал извергал проклятья как-то абстрактно, какому-то общему бывшему брату-чехословаку, теперь враг был здесь, рядом. Били долго, вымещали злобу за уличение в трусости и страхе. Голова Романова все глубже уходила в плечи и скоро сровнялась с ними.

На выходе из зала я столкнулся с Федько.

— Вот видите! Что я Вам говорил! Считайте, что отсиделись в окопе.

Часть наших программ была на немецком языке и предназначалась для немцев в Казахстане и Сибири. На радио это было явлением новым. Прежде даже упоминание о советских немцах не пропускалось цензурой. Николай Васильевич Федько еще со времен войны твердо усвоил, что немцы бывают плохие и коммунисты. Русские немцы, естественно, наши, но не зря же их переселили, дыма без огня не бывает. Конечно, они не волжские фашисты, это перегиб, но всё же, всё же...

Николай Васильевич считал, что в передачах для немцев надо особенно много «давать» русской народной музыки для воспитания чувства патриотизма. Меня он сразу заподозрил в симпатии к этому двухмиллионному нацменьшинству и идеологически ответственные тексты редактировать не доверял. При этом говорил:

— Доверь Веберу, он такую шопенгауэровщину завернет.

После того, как я предложил вместо рязанских частушек включить в передачу частушки тирольские, Федько проявил бдительность. Меня вызвал Власенко.

— Говорят, Вы там пангерманизм проповедуете?

— Что ж тут плохого, если немцы послушают немецкую музыку.

— Ах, молодой человек! Неужели Вам этих людей не жалко! Уже 27 лет, как они в ссылке. Зачем напоминать им об их несчастьи, искусственно будить никому не нужные чувства! Согласитесь, это бесчеловечно, — ослабился он.

Наконец, я все же пробил передачу с немецкими песнями. Был намечен день трансляции. Но он совпал с 27-ой годовщиной битвы под Москвой. Немецкие мелодии в эфире в такой день могли оскорбить чувства ветеранов. Передачу сняли, перенесли. Потом ей опять не повезло. Новая дата трансляции совпала с Днем танкиста.

И, кто знает, быть может, меня и засосала бы эта трясина, не приди мне на помощь моя тогдашняя беспечность, вернее, бездумность не нюхавшего пороха новичка.

В те годы на московском радио сотрудникам, владевшим иностранными языками, полагалась неслыханная привилегия — читать зарубежную прессу. Выписывался пропуск-допуск, и ты мог в специально отведенной для этой цели комнате получить западные

журналы и газеты. Считалось, что, начитавшись и возмущившись, ты напишешь что-нибудь эдакое, опровергнешь их подлую клевету. Называлось это контрпропагандой. От каждого, кто имел доступ, когда-нибудь, пусть не сразу, подобная активность ожидалась. Я тоже выписал себе пропуск, думал, почитаю, а там видно будет.

Ясное дело, выносить журналы из спецчитальни запрещалось, но меня об этом никто не предупреждал, и однажды мне надоело сидеть в душном закутке, я прихватил «Штерн» и отправился в буфет, где, присев за стойку бара, стал читать на виду у всех. Обложкой старался не светить. Если кто и догадывался, видимо, думал: ему положено.

Так я прокайфовал несколько недель, и вот перед Новым годом в бесшабашном настроении принес охапку «Квигов» и «Штернов» прямо в редакционный зал, шлепнул на свой стол, а сам пошел обедать. Вернувшись, застал живописнейшую сцену. Все женщины нашего отдела самых разных возрастов и комплекций, сгрудившись над моим столом, с торопливой жадностью листали журналы. Федько сидел, насупившись, но ни о чем не спросил.

Власенко вызвал меня лишь через неделю. Видимо, наводил справки, не провокация ли. На его место уже давно кто-то метил. Он заговорил со мной почти доверительно, с интонацией дружеского упрека.

— Товарищ Вебер, Вы это зря «Штерн» в отдел приносите. Вы же знаете, не положено. Вы же инструкцию читали. Не знаете? Не читали? Ну тогда это Сары Львовны упущение, заведующей спецзала. Надо ей напомнить об обязанностях... А вообще-то это у нас впервые, чтобы журналы из спецзала выносили...

Он многозначительно помолчал и виновато улыбнулся.

— Странно как-то Вы себя ведете. Сами ведь могли бы догадаться! Не зря же существует этот самый загончик в читальном зале. И потом, подумайте, что Вы делаете с женщинами, вернее, с сотрудницами вашего отдела! Да их инфаркт хватить может! Они таких картинок отродясь не видели.

Я не знал, что отвечать. Я был потрясен его мирным тоном. —

Ну ладно, идите! Будем выносить Ваше поведение на собрание редакции, — сказал он со вздохом.

Делать этого ему не пришлось. На следующий день я подал заявление об уходе.

Прошло несколько лет. Как-то с друзьями мы зашли в ночной ресторан Дома актера. За одним из столов я узнал Власенко, постаревшего и пьяного. Он узнал меня тоже, сверкнул зубами и воскликнул:

— А, гастролер! Тебя еще земля носит?

— Да, как видите.

Я подсел к его столу.

— Странно, по логике вещей ты должен был бы давно пропасть, а ты вон процветаешь, по ресторанам шастаешь... Он глядел на меня с пьяным удивлением.

Я слышал от кого-то, что его с радио выгнали — за кем-то не усмотрел — что подвизается в театре Советской Армии, что спился. Он начал жаловаться на людскую неблагодарность, имея в виду начальство, и вдруг, посмотрев на меня в упор, сказал:

— Я же тогда понял, что тебя ко мне подослали, только не сразу, не сразу понял, старый дурак. В наше время другой стиль был. Таких, как ты, чокнутых, к нам тогда не брали. Выпить хочешь?

Я отказался. Он налил себе полную рюмку и залпом выпил. Голова его медленно опустилась на грудь. Казалось, он заснул. Но уже через мгновение он резко вскинул голову и громко со стоном прохрипел:

— Ой, Вовка, и много же я вашего брата похерил!

— Нашего брата?

— Немчуры вашей волжской, ох и сколько же я их подавил, фашистов этих в 42-ом! Под началом были они у меня. В стройбате... на Урале... Во, смотри!

Он показал на орденские планки на пиджаке:

— Ты думаешь, я их на фронте заслужил? Да я там ни разу и не был. Это я за трудармию заработал. Ох, и дошли же они у меня!

Язык у него стал заплетаться.

— Ты думаешь, почему я к тебе так по-людски отнесся — немца на работу в центральный орган массовой информации взял! — как к родному отнесся, думаешь, почему? Да потому, что в мирное время по-людски надо, по-хорошему... Я ж к тебе тогда почти как к родному, а ты!

И он кисло и зло улыбнулся, не раскрывая рта. Голова его повалилась на стол, улыбка еще какое-то время продолжала блуждать на бесцветных губах. Через минуту он захрапел.



## Не успела

«Прокрался вдоль стенки: кто-то ворочался,  
кто-то стонал, кто-то харкал. Зашел в ванную:  
одинокий таракан сидел на стенке, шевелил усами».

*Дмитрий Добродеев*

Мне было почти двадцать шесть, но я уже год вел «жизнь свободного художника». Родители жены, на квартире которых мы обитали, наблюдали за моим образом жизни с недоумением и тревогой. Меня это тяготило, и я убедил юную супругу снять если не квартиру, то хотя бы комнату в коммуналке. Предпочтительно поближе к желанному центру. Под упреки тещи «Не плюйте в колодец...» мы переехали на Лесную улицу вблизи Белорусского вокзала.

Надежды Оттепели, когда произошло «расселение» обитателей мавзолея и все думали, что теперь начнут расселять и коммуналки, к тому времени, о котором идет речь, то есть к началу семидесятых, уже полностью развеялись, коммуналки существуют и поныне, описаны тысячу раз, и можно не сомневаться, что будут описаны и в тысячу первый.

Меня на подобную смелость побуждает предположение, что наш семизэтажный дом на Лесной имел все же свои, что называется, особенности. До революции он принадлежал медицинской страховой компании и строился на средства врачей, предпочитавших иметь практику в собственной квартире. Врачи были самого различного профиля, и в доме образовалась своего рода неофициальная поликлиника. В конце двадцатых годов врачебные помещения переоборудовали в жилые.

Коммуналок вроде нашей мне не приходилось встречать ни до, ни после. Два длинных коридора под прямым углом друг к другу, один завершался дверью, выходящей на лестничную площадку с лифтом, другой — тридцатипятиметровой кухней и дверью черного хода. Две туалетных и две ваннных комнаты предназначались, видимо, отдельно для пациентов и для семьи врача.

Для любой коммуналки два сортира — невиданная роскошь. Это преимущество, однако, сводилось на нет солидным количеством жильцов. В четырнадцати комнатах проживало десять семей. Время от времени делались попытки разделить туалеты на мужской и женский, но ввиду постоянного изменения полового состава квартиры и вечных очередей у женского туалета попытки эти каждый раз заканчивались неудачей.

Как во всех коммуналках, самое оживленное место — кухня. В нашей — четыре плиты, шестнадцать газовых конфорок. Шумно, крикливо. Звяканье кастрюль, звон посуды. Бесперывный шум воды. Газовые горелки гудят, в морозные дни не выключаются даже по ночам. Воют на всевозможные лады трубы и батареи отопления, не менявшиеся с царских времен. Не умолкает ни днем, ни ночью громыхающий лифт производства Карачаровского завода.

По покрашенным масляной краской скрипучим паркетным полам коридоров постоянно кто-то снует. С этим скрипом и шарканьем ног смиряешься труднее, чем с детскими криками и бубнением соседского репродуктора.

Коридоры казались узкими из-за заставленности всякими предметами, не умещавшимися в комнатах, например, персональными сундуками с картошкой. Всех, кто мне звонил, я просил звонить долго. Кто-нибудь когда-нибудь да подойдет. Если трубку снимал не я, а кто-то другой, ему приходилось сквозь весь этот хлам добираться до нашей комнаты, чтобы сообщить, что меня зовут к телефону, потом этот же путь предстояло проделать мне. Но сей процесс имел и положительную сторону, на пути туда и сюда я быстро перезнакомился со всеми жильцами, так или иначе оказывавшимися в момент звонка в коридоре.

Оштукатуренные стены коридоров испещрены таинственными каракулями. Несколько поколений, взрослые и дети, писали на них чернилами, мелом, ножами и гвоздями летопись своего проживания. Были на стенах и похабные частушки, которые по легенде сочинил сам Сергей Есенин, когда якобы коротко проживал в сей квартире или заживал в нее к одному из друзей. Помню, приходила целая делегация из Литмузея вместе с самим с директором А.Д. Тимротом (а он-то, наверное, должен был разбираться, как никак женат был на Софье Толстой, последней жене Есенина). Делегация фотографировала, высказывала сомнения в подлинности.

Старожил квартиры Прасковья Ивановна Сельцова Есенина ни в качестве жильца, ни в качестве гостя не помнила, в двадцатые годы тут часто поселялись писатели и журналисты, порой всего на несколько месяцев, стук пишущей машинки был одним из самых характерных шумов. Мне было лестно услышать, что моя машинка зазвучала в квартире впервые за последние тридцать лет.

С самого первого дня я наблюдал, как люди, только что вдрызг разругавшиеся, возобновляли общение, минуя фазу примирения. Поэтому главной моей задачей стало обозначить дистанцию. Вскоре после въезда я обил нашу дверь с двух сторон звукоизолирующим материалом. Покрытая светло-коричневым дерматином дверь выглядела вызывающе неприступной. Для большинства жильцов смысл этой дорогостоящей инвестиции был загадочно непонятен.

Еще более упрочил мою независимость случай с электробритвой. С потолка коридоров свисали тусклые лампочки. Порой они перегорали. Древние провода не выдерживали малейшей перегрузки. Как назло, однажды электричество вырубил именно тогда, когда я брился. В мою дверь бесцеремонно постучали. Открыв ее, я увидел перед собой разъяренную толпу жильцов в бигудях, трусах и халатах, вся ее многоликость сконцентрировалась для меня в одутловатом лице и визгливом голосе стоящей впереди всех огромной тетки, требовавшей немедленно починить электричество.

Уже на следующий день я стал бриться безопаской, объявив об этом событии всей квартире и прилюдно подарив электробритву одному из жильцов.

Главная персона в квартире — уже упомянутая Прасковья Ивановна, полнотелая приземистая старуха. Несмотря на годы и комплекцию, очень подвижная. Она следит за чистотой, напоминает жильцам, чья очередь уборки, словно она здесь хозяйка. У нее самая большая жилплощадь, бывшая зала, поделенная перегородками на три комнаты. На стенах — дешевые выцветшие олеографии, портрет Гагарина. Мебель сборная, разноликая. Рядом со старинной, дорогой — мешанский высокий диван с зеркальцем и полочкой для слоников и фанерные этажерки. В нише у кровати — иконка в окладе, но я ни разу не видел, чтобы Прасковья на людях перекрестилась. В церковь она ходит редко и почему-то оправдывается передо мной тем, что до храма трамвай не доезжает, а у нее ноги болят.

Она живет в квартире уже почти шестьдесят лет и ощущает ее как свой собственный организм. Из всех органов чувств слух у нее развит больше всего. Так про супругов, живших через стенку от меня, она заметила, как бы между прочим:

— Они друг с другом давно не живут.

— Откуда Вы знаете?

— Я все про всех по звукам знаю. Даже дверь ключом каждый по-своему открывает.

О другой моей соседке, одинокой скрипачке, играющей в оркестре, с которой время от времени случались многочасовые «приступы» профессионального рвения, она сообщила: «Нервничает, опять её, видно, выгонять собираются, вот и пилит». Ложится Прасковья не поздно, но долго не засыпает. Ей слышны далекие гудки поездов, хлопанье дверей соседних ресторанов, где она прислуживала когда-то, звуки мешаются в ее памяти с ночными шумами ушедших лет, с криками ямщиков, разносчиков, с цоканьем копыт.

Наконец приходит сон. Но ненадолго. К шести часам она уже на ногах. Общается на кухне с рано встающими жильцами, помогает им готовить завтрак, кого-то будит. Иногда остается с заболевшими детьми, и все это добровольно и бескорыстно. У нее ищут совета, помощи. Ей доверяют. Когда кто-нибудь надолго уезжает, оставляет ей ключи.

Улицы больших городов своими звуками, проникающими в людские жилища, мало отличаются друг от друга. И все же нет улицы, не имеющей своего звукового образа. Наша комната выходит окнами на троллейбусный парк, круглосуточно оживленный. Рядом с ним — клуб имени Зуева, обветшавшая постройка времен конструктивизма. Около него сквер. После закрытия джазовых кафе «Синяя птица» и «Молодежное» здесь по традиции собираются их завсегдатаи, ненаговорившиеся, недопившие и недопешившие. Горланят на лавочках до утра, а затем, не в силах расстаться, направляются в круглосуточную столовую троллейбусного парка.

Моя жена — переводчица и часто в командировках. В ее отсутствие я позволяю себе работать по ночам. Иногда тоже иду в столовую парка, пью кофейную бурду и читаю журнал, воображая себя в ночном кафе на Монпарнасе. Но чаще отправляюсь на Белорусский вокзал, который Прасковья по-старинке называет Брестским. Там работает ночной буфет. На лавках сразу замеча-

есть непассажиrow. Сбежав из ада коммуналок, сидят тут часами, читают. Или просто пришли с кем-нибудь поговорить, побыть с нормальными людьми.

Прасковья всегда слышит, когда я возвращаюсь. Объясняю, бродил, мол, по Москве или: был у друга.

— Да не оправдывайся, знаю, что не у любовницы. От любовниц не так приходят.

— А как?

— Вкрадчиво. Походка меняется. Даже у тех, кому не перед кем отчитываться.

Прасковья Ивановна подписывалась на роман-газету. Любила пересказывать содержание и обсуждать поступки героев. Я догадывался, что очень многое она добавляла от себя, договаривала по ее разумению то, про что авторы по цензурным соображениям умолчали. И я никогда не переспрашивал, не выказывал сомнения. Но вот она, неожиданно, кажется, для нее самой, стала рассуждать о собственной жизни, словно пересказывала содержание очередной повести.

Ей было неполных шестнадцать, когда в 1911 году ее, деревенскую девушку из подмосковного Богородского уезда, устроили прислуживать у московского врача. Поселили в комнатухе при кухне, где теперь кладовка. Позже, когда замуж за деревенского вышла, доктор пристроил ее мужа в их же доме дворником.

Лесная улица была тихой: рядом Бутырка, много городских. Ни лавок, ни магазинов, только булочная при пекарне, да прачечная, да еще ателье и мастерские разные. За остальным на Тверскую ходили, благо что рядом.

Доктор, Петр Ильич Селиванов, добрый был, бесплатно и ее, и мужа лечил. А грамоте хозяйка научила, Анна Казимировна. Однажды Прасковья простудилась, слегла в постель, хозяйка ей книжку принесла, тогда-то и выяснилось, что читать девка не умеет.

В германскую войну квартиры врачей в доме превратились в настоящий госпиталь, по несколько комнат под раненых отдели. Во время Гражданской и после у Селивановых тоже стационар был, но всего на несколько коек и только для важных чинов. Поэтому, наверное, Петра Ильича и не «уплотняли», а может, и потому, что некоторые из бывшей прислуги, доктора уважав-

шей, теперь в домоуправлении распоряжались. Прасковье разрешили и дальше у Селивановых прислуживать, а мужа дворником и сторожем оставили.

После нэпа домашнюю практику ликвидировали. Петр Ильич в больнице стал работать. Две его старшие дочери с семьями еще в 1919-ом за границу укатили, а две младшие с родителями остались. На четверых Селивановым две комнаты отвели. Прасковье тоже комнату выделили, детей у нее тогда с мужем еще не было. Работать пошла.

Она много чего умела, Селивановы обучили: стряпать, сервировать, за столовым серебром следить, а еще шить, штопать, вышивать. Чему барышень учили, тому и Прасковью. Где только она не работала! И поварихой, и костюмершей, и официанткой, и уборщицей, и даже банщицей.

В двадцатые годы Москва изменилась. Господа и купцы, кто мог, за границу ринулись, в город мужики понаехали, сбежали от голода. Раньше в Москве нерусских почти не было, кавказцев или калмыков разве что на рынке встретишь, из чужих — больше немцы и поляки. К двадцатым годам ни немцев, ни поляков почти не осталось, их места евреи заняли. С Белоруссии, с Одессы привалили. Да, еще про татар не сказала, они-то спокон века в Москве жили, но столько, как после революции, никогда не было. Словно вся Казань в Москву переехала. Их больше в дворники да в сторожа брали. Ну а коренных москвичей уже тогда почти не осталось. А теперь их и вовсе нету.

Про тридцатые годы Прасковья рассказывала мало. Но о чем-то все же упоминала. Например, как работала в Центральных банях. Как-то раз и там устроили «чистку». И там нашли троцкистов. Арестовали банных начальников, многих работников уволили. Но в основном тех, кто на подхвате. Банщиков-профессионалов не тронули. Без них бы все развалилось. Мастерство банщика, добавляла Прасковья со знанием дела, сразу не освоишь. А начальники тоже париться любили.

Жизнь становилась все хуже и скучнее, но все жили будущим, в газетах обещали, что растопят Ледовитый океан и на Бульварном кольце бамбук будет расти и апельсины, а Чистые пруды с Москвой-рекой соединят и каспийских осетров в них разведут. На Тверской передвигали целые здания, и жители до-

ма на Лесной мечтали, что их тоже передвинут подальше от трамвайного парка (тогда еще только трамвайного), даже письмо групповое в Моссовет направили.

Жильцы вселялись, выселялись. Только к кому-то привыкнешь, а его уже куда-то перевели или посадили. Доктора Селиванова в 1934-м взяли, на Соловки отправили. Хозяйку и дочек в лишенцы занесли, но выселили не сразу, видно, поначалу Анне Казимировне ее прежние высокие знакомства помогали, Прасковья сама от Петра Ильича слышала, что Анна Казимировна полячка и будто сродственница чуть ли не самому Менжинскому. Но Менжинский к тому времени уже умер. Младшую дочку из школы исключили, а ту, что постарше, из института. Затем им как лишенцам продуктовые карточки выдавать перестали и в конце концов сослали — а куда, Прасковья не знала. Но будто бы не в лагерь, а только на спецпоселение. Что с доктором стало, она тоже не знает.

Потом война. Прасковье пришла похоронка, а одной семье с двумя детьми — лишение прописки и выселение на пять лет на Север с конфискацией имущества, потому, мол, что их сын, пропавший без вести, — «перебежчик», после боя в часть не вернулся.

Многие в доме в эвакуацию уехали или просто исчезли, побросав в комнатах имущество. Прасковья с разрешения домоуправа большую залу заняла. К тому времени у нее уже двое мальчишек росли, хорошо, что поздно их завела, а то бы, как у других, на войне убили. Кое-какую мебель и посуду к себе из брошенных комнат перетащила, все равно бы разворовали.

Однажды, когда я по обыкновению зачитался за полночь, Прасковья постучалась ко мне, присела на стул у моей постели.

— Не спится? И мне... Последнее время совсем спать не могу.

Какое-то время помолчав, она вдруг выпалила скороговоркой:

— Чем старей становлюсь, тем сердцу горше... Покарал меня господь, оба сына из тюрем не вылезают, жены без них гуляют, внуки словно сироты беспризорные. Ты вон похвалил меня, что я всем помогаю, а ведь ты про меня не все знаешь. Грех на мне.

Она замолкла, словно ждала моей реакции, какого-нибудь способствующего продолжению ее рассказа возгласа или слова. Но я молчал.

— Ведь я до этой коммуналки под крылом Селивановых жила, как сыр в масле каталась, про соседские квартиры только от прислуги ихней и знала, да и то лишь амурное разное или кто чем лечится, или кто от чего помер... А так каждый своей жизнью жил с медной дощечкой на двери и одним звонком. А потом вдруг на нашей двери целых десять появилось. Поселили всякий сброд. Словно с улицы привели. Много я чего до этого видала: и как на улицах убивали, и как добро чужое грабили, но чтобы в мирное время вот так друг дружку ненавидеть... Тут в коммуналке ничего не скроешь. И кто на иностранном языке в своей комнате говорит, и визиты подозрительные принимает, и кто буржуйское происхождение скрывает и на заем не подписывается, или же кто смеется не над тем, над чем смеяться надо. Словом, строчи на соседа и улучшай жилищные условия.

Мужика моего тоже доносить на жильцов заставляли, как вообще всех дворников. Он работу бросил, в деревню сбежал, там у него от родителей дом остался, к нам лишь изредка наезжал, продукты привозил. А потом его на войне убили.

Но это я вперед забежала. Я тебе уже рассказывала, что когда доктора забрали, Анну Казимировну с дочками сразу в лишенцы записали; умолчала я, что домоуправ, когда понял, что нет у нее наверху никакой руки, подписи жильцов собирать начал, чтобы ее выселить. Скольких лишенцев в один час выселяли, но ему почему-то обязательно ото всех нас подписи нужны были, не знаю зачем, видать, опасался — а вдруг у бывшей хозяйки кто-нибудь влиятельный все-таки окажется.

Ничего такого плохого про Анну Казимировну в том письме не стояло, кроме того лишь, что мы, мол, жильцы, не хотим жить рядом с лишенкой, это разлагающе действует на моральную обстановку в квартире, на наших детей, словом, в Москве лишенцам не место. Я подписывать наотрез отказалась, но и Анне Казимировне о письме рассказать побоялась. Домоуправ сказал, что, если не подпишу, у меня жилплощадь отберут и в деревню, в колхоз, а то и куда подальше, отправят. Да и на Лубянку взять могут, ты вон буржуйам и после революции прислуживала, духом их, стало быть, пропиталась, раз государству помочь не хочешь.

Три месяца мне угрожал, жильцов на меня натравливал. У него поговорка была: «есть спина, найдется и вина». Скажет, смотрит на тебя и хихикает. Наконец день мне назначил. Всю



ночь я промучилась и утром подписала, в тот же день из бани уволилась, комнаты заперла и с детьми в деревню уехала от позора, целый месяц не приезжала, а когда вернулась, их уже не было...

Ты первый, кому рассказываю. Да и чего людям рассказывать, они сами грешные, их самих с других взysкивать учат. Так что вряд ли чего подскажут.

Я последнее время всего бояться стала. Даже от скребков дворника по утрам страшно делается. Никогда раньше они мне не мешали, наоборот, успокоительно действовали, знала, это мужик мой скребет, да и после, как его убили, они мне о нем напоминали, а теперь чудится, будто меня в могилу закапывают. Свалка какая-то в душе, разобраться не могу. Знаю, и без моей подписи их бы сослали. Но, как вспомню, жжение какое-то в груди. И тяжесть, и что-то растет там, словно опухоль какая, все нутро распирает. Мне бы узнать где-нибудь, что с ними стало, хоть бы краешком глаза взглянуть... А то ведь умру и не узнаю...

Я молчал и думал о том, что никогда в жизни не был в положении, в каком оказалась тогда, в тридцать пятом году, Прасковья, что никогда мне не приходилось выбирать между жизнью и смертью — своей и своих близких. И почему-то вспомнился один случай.

Как-то в самом начале 60-х мы с отцом шли в Москве по улице Горького. Перейдя перекресток с Козицким переулком, отец вдруг резко остановился, сжал выше локтя мою руку и почти вскрикнул: «Ключкин!» Лицо его окаменело. Живыми остались только глаза. В них были растерянность и страх.

Поверх толпы прохожих, идущих нам навстречу по тротуару, маячила бритая голова высокого пожилого человека. Человек этот прошел мимо с пустой авоськой в руке, не взглянув в нашу сторону, завернул в переулок и исчез в отделе заказов гастронома. Отец, ничего не объясняя, быстрыми шагами зашагал прочь. Много дней он был мрачным, раздраженным и неразговорчивым. Лишь сказал, что встреченный нами был начальником Севжелдорлага и что ему пришлось иметь с ним дело в лагере под Котласом. Никогда впоследствии в своих рассказах о лагерной жизни отец больше не упоминал этого имени. О Ключкине я прочел позднее у Солженицына...

— Не советчик я Вам, Прасковья Ивановна, расскажите все батюшке, может, он Вам поможет, на то он и батюшка, — ответил я Прасковье. Она угрюмо посмотрела на меня, и я прочел в ее глазах, что она уже пожалела, что открылась мне.

Съехав с Лесной, я иногда заезжал в эту квартиру к жильцам, с которыми за время проживания успел подружиться. Прасковья приглашала меня к себе, поила чаем, но прежнего разговора не заводила. Лишь один раз без всякой связи с предметом нашей теперешней беседы проронила: «Да что я к попам-то нашим пойду, они все партийные». «Не все же», — возразил я и назвал одного священника, с которым был лично знаком и в чистоте которого был уверен, разрешив сослаться на меня.

Но, видимо, она так и не решилась, а перед смертью не успела. Когда совсем занемогла, послала за батюшкой сына, которого как раз накануне выпустили из тюрьмы. По дороге в церковь он с дружкой напился и пропал на три дня. Когда возвратился, соседи мать уже похоронили.

## Резолюция

В начале семидесятых я еще предпринимал попытки напечататься. Посылал стихи в редакции и маститым писателям. Поэт Антокольский откликнулся теплым письмом. Мудрый Павел Григорьевич спрашивал в конце письма, кто я: еврей, латыш или немец. Ему, мол, важно знать это не как чиновнику паспортного стола, а чтобы лучше понять меня как поэта. Стихи мои он по каким-то своим соображениям рекомендовал издательству «Молодая гвардия».

Мне позвонил сотрудник издательства Вадим Кузнецов и пригласил на беседу.

На редакторе были черная тройка и черный галстук. Видимо, чтобы сразу настраивать авторов на траурный лад. Черная борода аккуратно пострижена. Он был похож на купца-мецената с картины Сомова или Серова. Вынул из кармана жилетки старинные часы:

— Вот это точность! Настоящий немец!

Было лестно такое услышать, обычно я опаздывал.

Говорил он со мной со снисходительной доброжелательностью. У издательства свой профиль, мои стихотворения могли бы подойти разве что альманаху «Поэзия», его главный редактор, Н. Старшинов, человек широких взглядов, кто только у него ни печатается...

Что-то написал на первой странице моей подборки, вложил ее в большой конверт и, не запечатав, протянул мне для передачи секретарю альманаха. По пути в альманах, находившийся этажом ниже, я не удержался и заглянул в конверт: «Коля, по-моему, неплохой автор. От Антокольского. Немец». Слово «немец» было подчеркнуто. Добрый редактор хотел избежать недоразумений.

Через несколько дней я зашел узнать, прочитал ли Старшинов подборку.

— Прочитал или нет, не знаю, но резолюцию наложил, — загадочно заулыбалась редактор Татьяна Чалова.

— Самого Старшинова нет, болеет, фронтвик, опять раны открылись, — она продолжала улыбаться. — Но он даже в таком состоянии юмора не теряет. Отправляясь в больницу, он тут на вашей рукописи автограф оставил...

Под рекомендацией Кузнецова крупными буквами было начертано: «Стрелять!»

## Любовь в «мерседесе»

В 1977 году я вновь побывал в ГДР, тогдашней мекке советских германистов. Запад был привилегией избранных. Мы довольствовались ГДР. Какая-никакая, а все же Германия! В Восточном Берлине я застал своих немецких друзей в состоянии крайней экзальтации. Темой всех разговоров был бард Вольф Бирманн, незадолго до этого отлученный от гражданства ГДР. Он был здесь всеобщим кумиром, мучеником «социализма с человеческим лицом». О социализме с другим лицом говорили все мои знакомые, в основном литераторы и художники. Правда, шепотом и оглядываясь. Я видел, убеждения их искренни, потому иронизировать не стал. Да гостю и не подобает. Лишь удивлялся. У нас спорили о Чаадаеве, Хайдеггере, Бердяеве, Борхесе, читали Платонова, Солженицына, Бродского, здесь же все ещё цитировали Розу Люксембург, пеклись о чистоте идеи.

Берлинская стена в разговорах почти не возникала, её считали временной болезнью, нарушением естественного хода вещей. Своего рода запором. Правда, несколько затянувшимся...

Какая-никакая, а всё же Германия! Я наслаждался атмосферой немецкого языка, ходил по букинистам, посещал музеи и театры, кутил с коллегами. Оставляя за спиной советскую границу, я ощущал себя на свободе. Конечно, где-то я осознал иллюзорность этого ощущения, и все же словно оковы с души спадали.

В многолюдных компаниях я, правда, порой перебирал лишнего, терял бдительность и в своих высказываниях посягал на основы основ... На лицах моих собеседников появлялось единодушное неодобрение.

Я забывался настолько, что позволял себе встречаться с коллегами из Западного Берлина. Звонил им из телефона-автомата, договаривался о встречах. Они приезжали в Восточную зону на машинах, открыто припарковывались у кафе и ресторанов, где мы просиживали часами. Они тоже в основном говорили о социализме.

— ГДР ещё всем покажет, что такое настоящий социализм, вот только погоди, вот дай только вызреть тому, что бродит внутри... Бирманн — первая ласточка!

Затем садились в сияющие лаком и хромом лимузины и укатывали назад в ненавистное им логово капитализма.

На аэродром меня вызвалась отвезти Бригитта, западная кузина моего восточного друга, за несколько часов до моего отъезда неожиданно приехавшая его навестить.

Она ещё никогда не общалась с «настоящим» русским. Я боялся, что она тоже заговорит о социализме. Но опасения были напрасны. Бригитта была человеком земной профессии. В Западном Берлине содержала кондитерскую. С русским, по ее мнению, полагалось говорить о литературе. Ей нравились Тургенев и Евтушенко.

Мой багаж оказался громоздким даже для «мерседеса» — в основном книги, приобретенные у букинистов. Чёрный «мерседес», перегруженный огромными картонными коробками, в полупустом аэропорту Шёнефельд выглядел экзотически.

Прощалась со мной Бригитта, уже немолодая, но шикарная дама, экспансивно, на глазах у всей аэропортовской погранзаставы. Возбужденно жестикулируя, она проклинала границы и клялась вскоре приехать в Москву. Под конец расцеловала меня и даже прослезилась.

— Кто эта дама? — спросил человек в униформе, проверявший документы. Тон его был требовательным и неуважительным. Он глядел в серпастый и молоткастый с брезгливым выражением...

Такого, подумал я, ещё не случалось за всю историю Объединения свободных немецких профсоюзов и Общества германосоветской дружбы. И проникся значительностью происходящего.

— Вас это не касается. Я не везу её в своём чемодане.

— Уверяю вас, молодой человек, очень даже касается, — сказал он жестко, с угрозой. — Кто эта дама?

И тут что-то на меня нашло. Я сделал ему знак наклониться ко мне. Удивительно, но он повиновался, и я заговорщицки прошептал ему на ухо:

— Любовница!

Я видел, что его лицо наливается кровью. Зло ухмыляясь и как бы подыгрывая, он спросил:

— Интересно узнать, где Вы этим... ну, этим самым занимались?

Обычно я лезу за словом в карман. Но, повторяю, на меня нашло.

— «Мерседес» — комфортабельная машина. В ней чуточку просторнее, чем в «трабанте».

Ответа не последовало. Оппонент потерял дар речи. Лишь вращал вытаращенными глазами. Краска отлила от его лица. Передо мной был владелец «трабанта»...

Он ушёл и больше не вернулся. Пришли другие. Потребовали пройти в отдельное помещение. То, что происходило потом, напоминало сцены из тривиальных детективов. Они интересовались моим нательным бельем, носками, обшлагами брюк, заглядывали внутрь туфель. Чемоданы и коробки распотрошили, долго в них рылись, а затем разочарованно бросили меня, оставив наедине с растерзанным багажом. На свой рейс я, естественно, опоздал. В Москве шмонали снова, окончательно разодрав мои коробки.

Не знаю, по этой ли причине, но именно в тот год я стал невыездным.

На целых одиннадцать лет. Ежегодно возобновлял попытки поехать в ГДР, подавал документы. Какая-никакая, а все же Германия! И каждый раз широколицый майор из ОВИРа повторял с малороссийским выговором всё ту же фразу:

— Товарищ Вебер! Ваше пребывание на территории ХыДызэР в настоящее время нецелесообразно.

Позднее, рассказывая эту историю поэту Гюнтеру Кунерту, я предположил:

— Вероятно, передали в Москву — использует поездки, чтобы налаживать западные контакты.

— Чтобы блудить в «мерседесе», — уточнил Кунерт.

## Ранний звонок

Я встаю поздно. Застарелая привычка работать и общаться по ночам. 8.00 для меня глубокая ночь.

— С Вами говорит военный атташе посольства Австрии Симон Пальмизано. Доброе утро! Я говорю с господином Вебером?

— Да. Доброе утро.

Я поглядел в окно. Еще не совсем рассвело.

Низкое небо. Коробки домов, разбросанные среди сугробов. В армии я не служил. В военном деле ничего не понимаю. Первое, что подумалось: разыгрывают друзья. Но сразу отбросил это предположение. Венское мяукающее произношение имитировать невозможно. Может, это со сна, галлюцинации...

— У нас в посольстве мне дали ваш телефон, сказали, что вы сможете помочь. Мне нужен перевод Пастернака гётевской баллады «Ученик чародея». У вас нет его случайно?

— Неслучайно есть, — пробурчал я сонно, не вполне понимая, чего от меня хотят.

— Вы не смогли бы продиктовать его по телефону?

Голова была тяжелой и мутной. Я вспомнил, что просидел с друзьями до четырех ночи, пил какую-то принесенную ими гадость.

— По-русски? — почему-то спросил я.

— Как? Я и не знал, что Пастернак переводил еще и на другие языки!

Голова раскалывалась, было не до юмора, захотелось сказать этому невыносимо бодрому голосу на другом конце провода что-нибудь очень невежливое, но я вовремя вспомнил, что говорю с иностранцем, да еще и с военным атташе, и, пересилив себя, взял с полки книгу и невыразительным позевывающим голосом прочел первую строфу.

— Пожалуйста, не так быстро! Не успеваю записывать... Читайте медленнее! — повелительным тоном попросил бригадир Пальмизано.

— Слушаюсь! — отчеканил я, два раза кашлянул и стал читать от начала, нарочито неторопливо и по складам.

— Нет, нет... Все равно не успеваю, нет, я вижу, по телефону никак не получится... Послушайте, окажите любезность, примите меня у себя дома! Я мог бы уже через час быть у вас.

Я оглядел кабинет, где спал, бросил взгляд в смежную комнату. Приглашать в эту обстановку иностранца, к тому же военного человека, да еще и атташе, — совершенно немыслимо. Для уборки после вчерашних посиделок требовалось, по меньшей мере, часа два. Но отказывать было нельзя. Не просто же так человек звонит, не червонец, стихи просит.

— Давайте, я отпечатаю на машинке перевод и приеду к вам сам, у меня все равно дела в центре, — соврал я.

Он предложил встретиться в кафе «Адриатика» рядом с посольством. Ну что ж, рядом так рядом.

Австрийское посольство расположено в переулках между Пречистенкой и Сивцевым Вражком, в самом тихом старомосковском районе. Был безветренный зимний день. В воздухе кружились сухие нечастые снежинки. Швейцар кафе, где завтракали по преимуществу дипломаты, с подозрением посмотрел на мой черный овчинный тулуп и огромную волчью шапку, но ничего не сказал — я был в сопровождении завсегдатая-иностранца.

Военный атташе оказался человеком средних лет, среднего роста, с улыбочным лицом. Меня поразило, что он в гражданской одежде. Мы начали с коньяка, а не с яичницы, как подобало бы поздно завтракающим дипломатам. Господин Пальмизано по выражению и цвету моего лица, видимо, сразу определил, что мне нужно в первую очередь. Уже после второй рюмки я вновь обрел форму.

Мой собеседник, весьма прилично владевший русским, оказался знатоком поэзии. Его интересовали проблемы перевода. Говорил в основном я, произнося длиннющие монологи о Пастернаке и русской школе перевода. Господин Пальмизано, пивший мало, записывал. Когда мы перешли к предмету нашей встречи, я вынул отпечатанный на машинке русский текст «Ученика чародея» и нарисовал ритмическую схему оригинала, а также схему пастернаковского перевода. Разгоряченный коньяком, по схемам я скандировал попеременно то немецкий, то русский текст.

Мы провели в кафе большую часть дня. Уже на улице, прощаясь, Пальмизано вынул из портфеля несколько книг:

— Я тут кое-что принес вам в подарок из своей библиотеки.



Смеркалось. Я побрел переулками, зашел в булочную, купил хлеба, пряников, сушек и только собирался перейти Гоголевский бульвар в направлении метро, как дорогу мне преградил запыхавшийся милиционер. Вероятно, он был сразу послан вдогонку, но потерял меня, петлявшего по переулкам, из виду и лишь теперь обнаружил. Я узнал в нем одного из посольских постовых.

— Извините, гражданин, предъявите, пожалуйста, документы.

Обычно документами постовые интересовались при входе в посольство, исчезая затем с ними в своей будке, чтобы записать или передать по рации кому надо. Как же он теперь запомнит мои не совсем обычные для русского слуха фамилию и имя? Если не запишет, наверняка не запомнит, — подумал я, посочувствовав. Он долго смотрел на первую страницу паспорта, потом так же долго и как-то бессмысленно листал его, словно выжидая чего-то. Мы начали привлекать внимание прохожих. Вдруг он сказал: — Тут товарищи хотели бы с Вами поговорить. Приказано вас проводить.

— Товарищи? В отделение, что ли?

— Да нет, тут неподалеку... — замялся он.

— Понятно, — произнес я и почему-то с хмельной удалью добавил, — с удовольствием!

Он повел меня вдоль бульвара, свернул в переулок и остановился у подъезда небольшого старого двухэтажного дома.

Квартира на первом этаже выглядела нежилой. В комнате, где меня ожидали двое, стояли только стол и несколько стульев.

— Товарищ Вебер, расскажите о ваших связях с иностранными дипломатами! — начал один из них и на недоуменный вопрос в моих глазах пояснил, — о сегодняшней вашей встрече в кафе «Адриатика», например.

— С кем имею честь? — спросил я, сам себе удивляясь.

— Ну вот, мы хотели без формальностей, но раз так, пожалуйста...

И он назвал себя и коллегу. Сотрудники Комитета государственной безопасности.

Мне было совершенно все равно, как их зовут. Я в тот же миг забыл их имена. Спрашивал так, для понту. Имел, конечно, возможность покуражиться, попросить показать удостоверения, но не стал. Второй раз за день меня вдруг охватил просветительский азарт. Не торопясь вынул из портфеля свои записи, и вместе с ними зачем-то и книги, и даже хлеб с пряниками и сушками, разложил все это перед собой на столе и начал рассказывать о принципах

художественного перевода. Как знать, может, эти тоже были тайными поклонниками поэзии, почему бы и нет, чем наши хуже, говорят, вон и Андропов стихи пишет.

Меня слушали, не перебивая. Даже удостоили внимания книги, подаренные бригадиром Пальмизано, полистали с важным видом. Одна называлась «Эстетика и трансцендентальная философия» Людвиг Витгенштейна.

Я все больше распалялся. Говорил долго. За окном начинало смеркаться. Наконец, моя риторическая фраза: «Спрашивается, можно ли научиться художественному переводу или он, как и всякое искусство, предполагает дар Божий?» — переполнила чашу терпения задававшего вопросы.

— Ну хватит о Божьем даре. Что за формулы и схемы вы чертили для господина Симона Пальмизано в кафе? — спросил он и включил настольную лампу.

— Ритмические схемы гетевского и пастернаковского хорей.

— Схемы чего...?!

— Хорей, это такой стихотворный размер. Господин Пальмизано интересуется переводами Пастернака. Я ему схемы не только хорей рисовал, еще и дактиля, амфибрахия, анапеста.

Мои визави переглянулись.

— Два последних размера — сложные, хорей же совсем просто записывается, хотите, покажу? Тире в схеме означает ударный слог.

Я взял чистый лист бумаги и начертал:

— V / — V / — V / — V /

— V / — V / — V / — V /

Старый знахарь отлучился!

Радуюсь его уходу...

Спрашивавший меня задумчиво посмотрел в окно на уже совсем темный переулок, медленно и как-то даже певуче произнес «хорей» и нехорошо выругался.

— Можете забирать свои бумаги, — процедил он, с великим трудом стараясь не потерять самообладания. Я разочарованно стал складывать в портфель книги, листки, хлеб, пряники, сушки. Мои собеседники нетерпеливо молчали, дожидаясь конца сборов. И тут один из них, тот, который безмолвствовал в течение всей «беседы», не выдержал:

— Я ж тебе говорил, там у них, в этом посольстве, сплошные шизы!

## Шумер

В 1979 году мой родственник Райнхольд Бартули возвращался из Средней Азии домой в Туву. По причине почти полного отсутствия пассажиров ехал он комфортабельно, занимал один целое купе. По казахской территории проезжали как раз в день все-союзной переписи населения. В поездах дальнего следования пассажиров регистрировали специальные комиссии.

Утром в вагон вошли с протоколами два казаха.

На первые вопросы Бартули ответил автоматически. Когда же казахи спросили: «Какой нации?» — он задумался. Посмотрел на выцветшие искусственные гвоздики в пластмассовой вазочке на купейном столике, испещренном следами от перочинных ножей, на репродукцию перовских охотников на стене, на желтые вылинявшие занавески со штемпелем МПС; взгляд его перенесся за окно на плоскую еще сумеречную степь с торчащими из-под снега колючками и ковылями, на редкие уродливые деревца вдоль полотна дороги, — и ему почему-то вдруг вспомнилась мать, как пришла она к нему за день перед смертью в детский сад при трудармейском лагере, мать-доходяга, в первый раз не принеся ему хлеба, вспомнились жестокие драки в детском доме в бурятском захолустье, бревенчатая школа с библиотекой из одной полки, первая прочитанная самостоятельно книга под названием «Алитет уходит в горы»...

Казахи терпеливо ждали.

...затем был лесной техникум, работа лесником в Эвенкии, вой таежной вьюги, 50-градусные морозы, еще позднее пединститут в Чите, где он заинтересовался своим происхождением, стал рыться в городских архивах, заказывать книги из других городов по абонементу, не знал, что органы уже с того самого времени начали следить за этим его интересом, что с тех пор, куда бы он не переезжал, сотрудниками архивов передавался гебистам список заказанных им книг. Наконец, его арестовали за распространение рукописи об истории российских протестантских сектантов. Отси-

дел пять лет, преподавать историю ему запретили, и он вернулся к своей прежней профессии лесника, нашел место под Кызылом, жил бобылем. Ни о своих предках, ни о своей погибшей в трудармии и Гулаге семье он так толком ничего и не разузнал...

И Райнхольд Бартули ответил:

— Шумер.

Казахи так и записали в свои бумаги. Только попросили проверить, правильно ли записали.

На вопрос о родном языке Бартули ответил сразу: немецкий. На этот счет у него сомнений не было. Язык сей он знал скудно, но в раннем детстве на Волге говорил только на нем, мать свою и родных, говорящих на другом языке, не помнил.

Через некоторое время казахи вернулись.

— Начальник велел проверить, не слышал он о такой нации — «шумер» — где она проживает?

— В Двуречье.

— Это где?

— В Месопотамии.

— А это где?

— А там где арабы живут, южнее армян.

— И шумер там живет?

— Там же.

Волосы у Бартули рыжие, глаза синие, кожа альбиноса.

— А шумеры все рыжие? — спрашивают казахи.

— Не знаю, — отвечает Бартули. — Я шумеров, кроме как себя, никогда не видел, я детдомовский. Одно только и знаю, что шумер.

— А чем шумер знаменит?

— Что значит знаменит! Чем казах знаменит?

— Казах кумыс сделал.

— Ну, а шумер — колесо.

— Какое колесо?

— То самое, на котором мы сейчас катим.

Первый раз на лицах казахов показалось что-то наподобие удивления. Ушли. Через час опять приходят.

— Начальник велел еще раз спросить, какой у тебя язык родной. Бартули повторил:

— Немецкий.

Молчат.

— Ну что еще?

— Вот, если б ты немец был, говорит начальник, и у тебя родной был бы немецкий или русский, тогда понятно, а «шумер» с «немецким», говорит начальник, не сочетается.

— А с русским сочетается?

— На русском все умеют.

— Ну ладно, пишите русский, коли вам так проще.

Облегченно вздохнув, казахи исправили протокол.

Перед тем, как уйти, они, потоптавшись в дверях, сказали:

— Вообще-то мы не казахи, мы уйгуры.

Больше они не возвращались.

## Почему я долго сплю

Придя к власти, Андропов принялся перевоспитывать народ. Народ распустился. Чиновники разных ведомств отлучались с работы, когда заблагорассудится. Ходили по магазинам, в баню, к любовницам. По стране свирепствовали дневные облавы.

Я нигде не служил, жил на окраине Москвы в Дегунине, работал дома. Однажды днем поехал в центр. Недалеко от Белорусского вокзала, где я покупал пиво, ко мне подошли два милиционера, попросили предъявить паспорт и назвать профессию. Я сказал, паспорта с собой не ношу, по профессии литератор.

— Тогда покажите писательское удостоверение.

Такового у меня тоже не было, я был тогда всего лишь членом Профкома литераторов при одном издательстве.

— Ха-ха-ха, — заржал один из милиционеров, — пиво выдается только членам профсоюза, — процитировал он. — Сейчас проверим, кто вы, тунядец или со службы сбежали опохмеляться. В отделении меня усадили заполнять анкету, а сами стали куда-то звонить, выяснять. У нас в профкоме телефон, как назло, не откликался.

— Что Вы в такой час, когда вся страна трудится, делаете на улицах города?

— Шляюсь.

— Если Вы писатель, то сидите дома и пишете.

— Нет вдохновения, — посетовал я. — К тому же, я только полчаса, как встал. Я поздно встаю.

— Капитан вынул чистый лист бумаги и приказал:

— Вот садитесь и пишете, почему так долго спите, в то время как советские люди уже давно на рабочем посту. Пока не объясните, не отпустим.

— А можно в стихах?

— Валяй!

Я сел и написал:

Объяснительная записка капитану К. Пришлomu  
от москвича В. Вебера,  
почему последний предпочитает спать долго.

«Чтобы продлилась жизнь моя, мне нужно, чтобы утром мне кто-нибудь улыбнулся, все равно кто, девушка или старуха. Но губы прохожих по утрам закрыты, как лепестки цветов, нуждающихся в большом количестве солнца. А так как оно у нас встает поздно, я стараюсь поспать чуточку дольше него».

Капитан прочитал и сказал:

— А говорил, в стихах напишешь! А это где у нас, в Дегунине или в России?

Я подумал и ответил:

— В Дегунине.

— То-то же! — улыбнулся капитан и отпустил меня. Объяснение мое вместе с анкетой аккуратно подколол в папку.

## Был, в каком-то смысле, знаком лично

В начале девяностых я вел семинар в университете Граца, столицы австрийской Штирии. Приходили на мои занятия в основном русисты, избравшие русский язык и знание о России своей профессией. Некоторые, хотите верьте, хотите нет, учились с единственной целью: читать в оригинале русскую литературу. Многие и сами писали стихи и прозу. Поэтому я относился к ним не как наставник, а как собрат по перу, как коллега по цеху литературы, где, как известно, возрастных барьеров не существует. Пересудов своих университетских коллег я не опасался. «Гостевому профессору» стиль поведения не предписывается.

Порой разговоры с моими семинаристами переносились в пивные или кафе, летом — в биргартены. В отличие от романских стран, где столы и стулья в хорошую погоду расставляют прямо на тротуаре у входа, в питейных заведениях Германии, особенно южной, а также в Австрии и немецкой Швейцарии, для желающих расположиться на свежем воздухе оборудуются во дворе под тенистыми деревьями или широкими летними зонтами эти самые биргартены. Здесь царит шплицеговская<sup>1</sup> атмосфера домашнего уюта, вынесенная под открытое небо, не слышно уличного шума и ничто не должно отвлекать от беседы.

Однажды от одного из своих подопечных я получил приглашение отужинать с ним и его друзьями в ресторане «Гёссер» по поводу некоего знаменательного события. Какого — не сообщалось. Прихожу в ресторан и рядом с входной дверью сразу замечаю (нельзя не заметить) яркую самодельную вывеску с изображением пятиконечной звезды, бутылки водки и надписью от руки по-немецки: «Собрание Клуба имени Венечки Ерофеева — в большой беседке биргартена».

Употребляю слово «клуб», привычное для русского слуха. Правильнее бы, наверное, сказать ферейн, как в немецком, одна-

---

<sup>1</sup> Шплицег, Карл (1808–1885). Немецкий художник эпохи бидермайера.



ко, слово это, начавшее входить в русский обиход незадолго до революции, привиться не успело — исчезла сама возможность для подобного рода объединений.

За столами много моих студентов, но большинство собравшихся незнакомо. Сегодня я, как почетный гость упомянутого фрейна, зван на юбилейное — десятое заседание.

Вспомнилось, что с чем-то похожим уже приходилось встречаться. В семидесятые годы в Лейпциге существовал «Клуб имени Юрия Трифонова», автора в ГДР необычайно популярного, особенно в среде оппозиционно настроенных интеллектуалов. Он означал для них саму возможность существования настоящей литературы и в условиях строжайшей цензуры. В отличие от открытых диссидентов Трифонов сумел де найти форму высказывания критических суждений, не подвергая при этом сомнению мифы господствующей идеологии, не входя в конфликт с властью, не становясь неуютным элементом, — и это в стране, у которой гедэровским немцам надлежало учиться. В ГДР тогда повсюду на транспарантах можно было прочесть: «Учиться у Советского Союза значит учиться побеждать».

«Wenetscka Jerofejev Verein», или, как бы сказали сегодня, «Клуб фанов Венечки Ерофеева» существовал уже больше полугода. Для вступления в него требовалось прежде всего отличное знание поэмы «Москва — Петушки», каждому кандидату устраивался строгий экзамен. Кроме филологов были здесь богословы, биологи, историки, юристы, медики. Клуб видел свое предназначение в знакомстве с литературой, абсолютно независимой от сложившихся представлений и диктата среды. Девиз: «Быть свободным как Венечка Ерофеев».

— Присутствующим хотелось, конечно же, знать, общался ли я когда-нибудь с Ерофеевым, видел ли его живого.

— Нет, не видел, но был, можно сказать, в каком-то смысле, знаком с ним лично, — проямлил я.

Мои «в каком-то смысле» и «можно сказать» подействовали интригующе. Меня обступили со всех сторон. Вот она слава! Здесь, на южной окраине Австрии, где еще шаг — и начнутся бесконечные Балканы, в тенистом штирийском биргартене, молодые люди восхищенно ждали от меня рассказа о великом русском забулдыге, им хотелось знать про него все, и как можно подробнее.

...В те брежневско-андроповские времена я читал в основном самиздат, он шел на черный книжный рынок из-за границы валам. Покупал за солидные деньги, и, прочитав, опять продавал. Некоторые книги, а чаще всего просто слепые копии, давали почитать московские знакомые — литераторы, актеры, художники, физики, математики. Среди книг встречались уникалы. Например, у меня довольно долго пробыла совершенно зачитанная книга афоризмов Андрея Синявского, подаренная им в Париже Владимиру Высоцкому, с посвящением, свидетельствующем о глубоком уважении автора к творчеству барда. Высоцкий пустил ее по рукам; к тому времени, когда она попала ко мне, она уже года два путешествовала из дома в дом.

Таким же образом забрела ко мне и книга Александра Зиновьева «Зияющие высоты», подаренная автором Венедикту Ерофееву. И тоже с посвящением. Ерофеев дал ее на неопределенное время Галине Погожевой, московской поэтессе и переводчице. Та оставила книгу у меня, а сама укатила с французскими музыкантами в поездку по стране. Бывало, Погожева пропадала на целые месяцы.

Прочитав Зиновьева, я тоже стал одалживать его друзьям и знакомым. А книга большая, афористичная, читать следует не спеша. В нее вцеплялись, подолгу не отдавали.

Галина Погожева все не приезжала, и я начал свыкаться с мыслью, что Зиновьев как бы уже мой.

Но вот однажды звонок. В Москве не принято, снимая трубку, представляться.

— Аллё.

Звонивший тоже не отрекомендовался.

— Доброе утро. Говорят, у вас моя книга, ну этого, Каменева.

Я сразу сообразил, о чем идет речь и кто мне звонит.

— Да, у меня.

— Она мне срочно нужна.

— Назовите адрес, куда привезти. Но сегодня я не смогу, у меня дела.

Я лукавил, книгу мне еще предстояло забрать у моего соседа, публициста Василия Селюнина, будущего паладина перестроечной прессы, тогда мало кому известного. Он был постоянным пользователем моей потаенной книжной полки. Цитировал Зиновьева целыми абзацами наизусть, и все никак не хотел возвращать.

Звонивший предложил:

— В ближайшее воскресенье в доме Фадеева<sup>1</sup> творческий вечер Левика<sup>2</sup>, ну, этого, переводчика, — я там гость нечастый, но вот решил сходить, как-никак, Вениаминович... Встретимся в фойе перед началом, узнать меня просто, я там выше всех, даже Михалкова.

Номера телефона я спрашивать не стал. Неизвестно по каким причинам владелец книги не назвал ни своего, ни моего имени.

За день до встречи я позвонил Левику, которого хорошо знал, попросил, чтобы он захватил с собой несколько моих залежавшихся у него книг.

— *Es tut mir leid*<sup>3</sup>, голубчик, но у меня в воскресенье не предполагается никакого вечера. Последний мой авторский вечер состоялся ровно год назад и, действительно, в ЦДЛ. Тот, кто вам сообщил о моем выступлении, заглянул, скорее всего, спяну, в календарный план прошлого года, — съязвил Вильгельм Вениаминович.

Меня подмывало на это ответить, что не «скорее всего», а наверняка, и что «заглянувшим» был сам Венечка Ерофеев, вдруг пожелавший оказать ему, непьющему переводчику Левику, своим посещением его, Левика, вечера великую честь, но, помня о конспирации Ерофеева, сдержался.

В назначенный срок на встречу никто не явился. Я целый час одиноко простоял перед закрытыми дверями ЦДЛ, ресторан тоже не работал, был санитарный день.

Телефона у меня не было. Галина Погожева где-то далеко. Не оставалось ничего другого, как ждать нового звонка.

Позвонил Ерофеев только через несколько месяцев.

— Здравствуйте, это снова я, по поводу Радека. Я тогда не смог на вечер этого, как его, Гинзбурга, прийти. Накануне... ну... не сдержался. Простите. Надеюсь, вы не очень там скучали. А вы почему не звоните?

---

<sup>1</sup> Дом Фадеева — Центральный дом литератора им. А.А. Фадеева (ЦДЛ).

<sup>2</sup> Левик, Вильгельм Вениаминович (1907–1982). Поэт-переводчик. Переводил Шекспира, Байрона, Бодлера, Гете, Шиллера, Гейне, Лафонтена, Мицкевича, Ронсара, Дю Белле, Камюэнса, Петrarку.

<sup>3</sup> *Es tut mir leid* (нем.) — мне жаль.

Упрекать любимого писателя мне не хотелось. Смущать упоминанием о его ошибке, о которой он и не догадывался, тоже. Я лишь с облегчением понял, что он не разыграл меня тогда, действительно звал на вечер.

— Вы же мне не оставили телефона.

— Неужели? Ну, значит, вас щадил, за контакты со мной по головке не гладят, а ещё есть такие, звонишь им, а они тебе: ты чё фамилию свою называешь.

— Венедикт Васильевич, если вы сами по каким-то причинам не опасаетесь контактов со мной, я общения с вами, по телефону или наяву, совершенно не боюсь. Наоборот, почту за честь записать ваш номер и ваше имя в свою телефонную книжку.

Пауза.

— Вот вы сами во мне недоверие сеете, откуда вам известно мое отчество, ведь его никто, кроме двух-трех людей, в целом мире не знает...

Я не знал, что ответить.

— Не обижайтесь, это я в шутку. Хорошо, не будем в прятки играть, записывайте... звоните... приезжайте...

Через несколько дней с волнением набираю номер записанного телефона.

— Ясно, вам нужен Ерофеев, вы говорите с его женой Галей, он дома, но подойти не может, позвоните завтра.

Звоню на следующий день, мне опять советуют позвонить завтра. И так несколько раз. Наконец, со мной говорят в раздраженном тоне:

— Ну что вы, не понимаете, что ли, ну не может он.

Больше не звоню. Звонит сам Ерофеев.

— Здравствуйте, это я опять, насчет Пятакова. Я поболел тут немножко, вы уж меня простите.

— А я как раз перечитываю вашу книгу.

— Да разве ее можно перечитывать, такую Федурю.

— Да нет, не Пятакова, ваши «Петушки».

— А... Наверное, тот вариант, в котором 177 ошибок. Приезжайте, я вам его выправлю, собственноручно... Тьфу... сказал и самому противно стало, вот видите, живу в сознании собственной значительности. Кстати, вы сами-то как с такой фамилией по земле бродите.

Да обычная фамилия, у немцев встречается чаще, чем у русских Ерофеев.

— Ну, это там у них, а у нас Вы из мира эльфов и Волчьей долины.

— Были Веберы и позначительней композитора.

— Это кто?

— Ну, Макс Вебер, например...

— Вы меня разочаровываете... Нет, вы меня убиваете... Сравнить какого-то занудного профессора с творцом арии Агаты из «Фрейшица»! У меня пропадает желание с вами знакомиться... Как это вы так моего Карла Марию фон... Он хоть и романтик, и мечтатель, а первым все эти оперы-серия и оперы-буфф, всяких там мейерберов, пуччит и хьораванги<sup>1</sup> на хер послал, дом лесничего прямо на краю Волчьего оврага поставил, вурдалаков в подполе дома поселил... Вот, мол, как близко с нами проживают... Спустился в подпол, и вот они... Это тебе не о плебисцитах пиз\*\*ть! Кстати, Вагнер к нему в карман хорошо руку запустил, в смысле идеек... А еще мне этот Карл Мария фон симпатичен тем, что мало написал. Не нравятся мне эти многописаки.

— А Моцарт?

Молчание.

Потом вдруг на ты:

— Послушай, ты мне напоминаешь одну комсомолку из МГУ розлива 1961 года. Я ей говорю: идеальных людей не бывает, а она в ответ: а Никита Сергеевич Хрущев?

Наши разговоры обрывались, возобновлялись. Сюжет с книгой Зиновьева стал отходить на второй план. Запомнились лишь фрагменты. Порой, когда он звонил сильно выпивши, временно переходил на ты.

— Вальдемар, ты Розанова читал?

— Нет, еще не читал.

— Ну как же я с тобой встречаться буду, если ты Розанова не читал. Прочти, тогда звони.

— Я думал, Вам книга срочно нужна.

— Да не мне. Тот, кто просил, умотал в какой-то Засранск. Читай Розанова, пока «Апокалипсис» не прочтешь, не появляйся.

---

<sup>1</sup> Джакомо Мейербер (1791–1864) — композитор, создал эклектичный стиль большой, помпезной оперы; Винченцо Пуччита (1778–1861), Валентине Фьораванги (1764–1837) — композиторы-эпигоны, сочинявшие произведения для «услаждения слуха» эффектными виртуозными ариями.

Или в другой раз:

— Где она там, сука эта, когда книгу отдаст?

— Да Вы же знаете, книга у меня, Галина Погожева оставила её мне, она в постоянных поездках и надеялась, что книгу отдам Вам я, а мы с Вами вот уже год как встретиться не можем. Погожева тут ни при чем. Вы ее стихов не читали, иначе бы так не называли.

— Читал, потому и называю. У меня это слово заслужить надо...

В конце концов, я отдал книгу назад Погожевой, и она сама доставила ее Ерофееву. Телефонные контакты прекратились. Повода для очной встречи больше не было.

Но вот однажды мои друзья, немецкие слависты, захотели познакомиться с Ерофеевым лично, и я позвонил ему. Попал на жену. Она Ерофеева к телефону звать не стала, назначила время встречи сама.

— Можете не беспокоиться, я прослежу, чтобы он к вашему приходу в норме был.

Я попросил объяснить, как лучше добраться.

— Да Вы же у нас бывали.

— Никогда не бывал.

— Да совсем недавно приезжали... Меня дома не было. Я Вам еще звонить хотела, собиралась отругать, что крепкие напитки с собой привозите, виски да бренди... ну Ерофеев... что же это он, каждый раз врал, значит... Вот сволочь!

Мне бы сообразить, придумать что-нибудь, выгородить Венечку, а я стал завираться, нести несвязное.

— Да ладно, — сказала Галя, — все ясно, он мне уже третий год эту тюльку заправляет, приезжал, мол, Вальдемар с коньяком, ты же, мол, знаешь, я дорогую выпивку не люблю, но как отказать человеку с таким именем и такой фамилией! К тому же, Вениаминовичу! Так что мне теперь на Вас уже и самой взглянуть любопытно.

— Прошу вас, не разоблачайте Венедикта Васильевича...

— Обещаю. Но только до первого раза. Если опять Вами прикрываться станет, не выдержу, сорвусь, вот гад...

Однако и на этот раз моя встреча с Ерофеевым не состоялась. Что-то произошло у меня в семье, славистам пришлось ехать к Ерофееву одним, переводчик им был не нужен, на то они и слависты.

Вскоре приплыла перестройка, и Ерофеева, уже смертельно больного, начали осаждать журналисты и любопытные. Рассказывали, что дверь у него не закрывалась. Незнакомые люди, телевизионщики. Не хотелось вливаться в их толпу, смазывать суетной реальностью интонацию прежних разговоров...

...Слушавшие смотрели на меня с обожанием и недоумением.

Мои воспоминания, процедура приема меня в члены клуба и обязательное чтение очередной главы из бессмертной поэмы с последующей дискуссией — все это затянулось далеко за полночь.

На прощание председатель ферейна сообщил, как водится, о дате следующей встречи, а также о ее содержании: будет обсуждаться глава «Есино — Фрязево».

## Тяньшаньские камни

От одной частной шварцвальдской клиники пришло неожиданное приглашение: прочесть пациентам лекцию о современном положении в русской культуре. Интерес к России в Германии тогда, в годы поздней перестройки, подскочил невероятно.

Как я понял из рекламного проспекта, клиника заботилась о душевном здоровье тех, у кого расстроился контакт с внешним миром, кто внезапно почувствовал его отчужденность, потерял ориентацию в жизни. В периоды подобных кризисов, писалось в проспекте, человек с тревогой начинает ощущать в себе незнакомое ему беспокойство. Он не знает, как отнестись к нему, он растерян, смущен, воспринимает его как силу, задумавшую недоброе, желающую сбить с толку, увести в чуждый мир... Сотрудники клиники рассматривают подобные состояния как «Божественную дисгармонию». По их мнению, она появляется, когда человеку становится необходимым проникнуть в сердцевину своего существа, заново ощутить, осознать, организовать себя. Своего рода призыв к Преображению... Преодолевая с помощью психологов, называющих себя «проводниками», а точнее, «проводжатыми», этот внутренний разлад, человек не только вновь обретает вкус к жизни, но и совершенствует свою личность, находит пути к существованию, наполненному высшим смыслом.

Что может дать моя лекция пациентам, думал я, отправляясь в дорогу, — ведь я не мог рассказать им о своей родине ничего отрадного, а следовательно, хоть как-то способствовать восстановлению их душевного равновесия. Она, как и они, жила в оцепенении перед какой-то непостижимой силой, в страхе сбиться с пути, затеряться в пустыне безвременья, она также искала выхода и не находила его, но у нее, в отличие от них, не было поводырей...

В Шварцвальде шел снег. Мой автомобиль несколько раз застревал в преграждавших дорогу наносах. Уже давно мне не хватало настоящей зимы, и я радовался этим остановкам. Ностальгически озираясь вокруг, с наслаждением вдыхал морозный воздух, пожирал с высоты глазами бескрайний черно-белый пейзаж.



Клиника располагалась в раскиданных по лесистому холму деревянных домах бывшего горного курорта, построенных в начале века в духе местной крестьянской архитектуры. Я приехал к вечеру, в ранних сумерках на улицах и террасах уже зажигались фонари, начинали дымиться каминные трубы. Внешне все как в старых цветных немецких книжках, чудом сохранившихся в доме моего детства.

За ужином я узнал, что место это известно еще и тем, что накануне первой мировой войны здесь постоянно встречались русские и польские революционеры. Позднее, во время вечерней прогулки мне показали виллу, где подолгу жил Теодор Герцль. Нередкими гостями в двадцатые годы были здесь и некоторые именитые национал-социалисты.

Мне отвели комнату под крышей. По преданию ее всегда снимал Лев Троцкий. Уже не раз волей случая приходилось мне останавливаться в помещениях, принадлежавших в прошлом выдающимся личностям. Так когда-то я ночевал в доме Томаса Манна на Куршской косе, служившем гостиницей литовскому Литфонду, в стенах бывшего кабинета писателя, в котором он работал над романом «Иосиф и его братья». Тогда от волнения я долго не мог уснуть.

Что имели в виду пригласившие меня, поселяя в любимой комнате творца идеи перманентной революции, мне неизвестно, но наверняка они не задавались целью лишить меня сна. Скорее всего, у них были свои психотерапевтические соображения.

Я распахнул окно. Шел снег, занавешивая вид на уснувшую внизу ночную долину и тем усиливая ощущение полной уединенности и покоя.

Трудно было в этот момент не предположить, что все суперзамыслы века выпестывались именно здесь. Идеальное место для лелеянья грез.

Расположиться бы клинике тут на полвека или век пораньше...

На следующее утро я спустился к завтраку и занял место за ближайшим от двери большим круглым столом, за которым уже сидело человек шесть.

После первой чашки кофе во мне проснулась моя обычная словоохотливость. Зная по опыту, что немцу, если он хорошо воспитан, всегда трудно первым заговорить с незнакомым человеком, я решил проявить инициативу, начал обращаться с вопросами

к соседям по столу. Мне отвечали вежливо, но как-то очень уж односложно. Только тут я заметил, что сидящие за столом не общаются. Наконец, сообразив, что я не пациент, а прибывший вчера лектор, мне объяснили:

— Все люди по утрам делятся на Молчаливых и Говорливых.

Мы сели за стол Молчаливых. Ваш стол другой, тот, что у окна.

Я приехал за двое суток до выступления, и мне предложили познакомиться с методами лечения на собственном опыте. Оно состояло в медитации, физических упражнениях, призванных помочь телу осознать единство с душой, а также в различных занятиях, вызывающих к творческому началу. Их перечень был довольно многообразным: рисование, живопись, лепка из глины, музыка, танцы, жестикуляция, астрология, толкование событий и снов, интерпретация прочитанных по совету врачей книг, в основном, сказочного и мифологического содержания.

От медитации я уклонился, отговорившись тем, что и так, мол, целые дни медитирую: пишу и перевожу стихи.

В самом конце меня ждала беседа с экстрасенсом. Высокий, бритоголовый, с широким высоким лбом и слегка выпученными глазами, он с минуту, не произнося ни слова, пристально глядел на меня. От смущения я начал говорить первый, стал рассказывать о себе, хотя он об этом не просил. Взгляд его был испытывающим и одновременно добродушно-снихождительным, точно он знает обо мне что-то, чего не знаю я сам. В какой-то момент он мягко прервал меня и предложил лечь на кушетку.

Накрыв меня до пояса шерстяным пледом, он расположился в кресле рядом. Я уже было настроился на психоаналитический сеанс, но вопросы оказались поверхностными и необязательными, словно спрашивающий задавал их исключительно с целью подготовки пациента для дальнейшей процедуры.

Во время разговора он встал и простер надо мной ладони. Постепенно приближая их ко мне и водя ими в воздухе от колен до груди, он вдруг застыл в неподвижной позе. Я почувствовал медленное излучение тепла, оно становилось все горячее и вскоре достигло интенсивности каракумского зноя. Реакция моя была настолько сильной, что он резко отдернул руки и прервал сеанс. Отошел к окну, открыл створку, закурил. Его выбритый до белизны выпуклый череп был точь-в-точь как сугроб за окном.

Я продолжал лежать, ждал указаний. Он стал ходить по комнате, громко рассуждая и жестикулируя:

— Я знаю о способности русских аккумулировать энергию, чтобы затем самим излучать ее. Вот теперь еще раз убедился в этом, Вы — второй мой русский клиент, я потрясен. Вот она, эта энергетичность, о которой я раньше знал лишь понаслышке или предполагал, читая вашу литературу. Мне понятно, почему у Штайнера было столько приверженцев в России, неспроста он выделял русских из своих учеников.

Я робко возразил с кушетки:

— Жаль, но должен разочаровать Вас. Во мне ни капли русской крови...

Он прекратил ходить, озадаченно пробурчал меня взглядом и буквально закричал:

— Причем тут кровь! Вы рождены под сибирскими звездами! А тьяншаньские камни! А дух необозримого пространства! И вы — во владении им, в сознании, что все это ваше! Согласитесь, Россия — уникальная страна, она бесследно проглатывает редчайшие метеориты, всасывает их своей плотью, своими топами, ее воздух пропитан магнетизмом. Он в каждой вашей клеточке, в каждом капилляре. К вам обращен космос, вы промагничены им! Это не случайно, что у вас не было философии в классическом смысле. Вам она ни к чему! Аккумулируя мировую энергию, вы прорываетесь к высшим формам познания магически, интуитивно...

Я вышел на улицу ошеломленный, ощущая резкий упадок сил. Через несколько часов начиналась моя лекция, а я никак не походил на того «энергического» русского, о котором говорил экстрасенс.

Начинало смеркаться. Шедший уже несколько дней снег прекратился, и на небе впервые появились звезды. Я с надеждой взглянул на них, и хотя мои трансцендентные способности были в тот момент близки к нулю, звезды меня услышали и дали добрый совет: поди, приляг на часок!

*1993–2012*

**Часть II**  
**ИЗ КРЫМСКИХ ТЕТРАДЕЙ**



## Охраняется государством

Говорят, сам Геродот, поднявшись на Байдарский перевал, задохнулся от восторга.

От Севастополя долго едешь между желто-бурых гор по медленно набирающей высоту дороге. Скучные скалы, ты разочарован, не таким представлялся Крым. Но вот въезжаешь в портик Байдарских ворот, несколько секунд продвигаешься в полутьме узкого тоннеля, и в глаза ударяет поток ослепительного света. Не в состоянии ехать дальше, останавливаешь машину, приходишь в себя, привыкаешь, как тебе кажется, к яркому свету, но постепенно догадываешься, что это был не только и не просто свет, а сама — открывшаяся всем своим величием сразу — красота Южного берега.

На переднем плане панорамы, на самом краю огромной скалы парит над Форосом пятикупольная церковь Воскресения Христова. Сооружена она в конце девятнадцатого века на средства местного чаепромышленника Кузнецова в благодарность за великое благодеяние Господне: поезд, на котором Александр III возвращался в Петербург, попал в катастрофу, вагон с царской семьей уцелел, устоял на рельсах.

Но Крым не мыслим без легенд и, согласно одной из них, появление церкви связано с чудесным спасением дочери Кузнецова: построена на месте, где якобы спаслась от смерти его дочь. Ее везли в упряжке, что-то испугало лошадей, они понесли, гибель была неизбежной, но случилось невероятное — лошади вдруг остановились у самого обрыва...

С недавнего времени севастопольское турбюро включило осмотр церкви в свою программу. Туристы в тренировочных трикотажных штанах и шортах стоят вокруг гида, по совместительству пляжного спасателя, мрачно слушают его. На покореженной двери, ведущей в храм, ни замка, ни крючка. Когда группа переступает порог, вороны и ласточки вспархивают под купол. В окнах ни одного целого стекла. Обшарпанные стены со следами роспи-

сей местами замазаны белой масляной краской, пол завален щебнем, гнилыми досками, заляпан птичьим пометом, из углов смердит. Гид говорит, что в подобное состояние церковь привели оккупанты во время войны, то ли немцы, то ли румыны, здесь был то ли их штаб, то ли конюшня. Кто-то сомневается: конюшня на краю обрыва?

Гид в ответ пожимает плечами.

— А церковь когда закрыли?

— В начале двадцатых. Во время НЭПа здесь был кафешантан, затем какая-то мастерская, потом опять ресторан. После освобождения Крыма ресторан открыли снова, он просуществовал до 1969 года. Кстати, Никита Сергеевич Хрущёв бывал в нем частым гостем. Когда построили нижнюю дорогу из Севастополя в Ялту, ездить через перевал практически перестали, ресторан ликвидировали, церковь стала складом, с тех пор она — «под охраной государства».

Туристы молчат, потрясенные варварством иноземцев. Затем, стараясь не споткнуться о валяющийся крутом хлам, плетутся вслед за экскурсоводом.

*Форос, 1983*

## Эдельсдорф

На отдых меня тянуло в Крым, не в Сочи. В Крыму я не мучился влажной духотой, здесь царила сушь, на легком ветру колыхалась выжженная трава, а у моря можно было жарить на вертеле кефаль или султанку.

Имена прибрежных городов еще помнили Элладу: Симеиз, Кореиз, Форос, Херсонес, а на берегу порой попадались черепки древних амфор.

Один из моих многочисленных двоюродных дедушек, подавшихся в начале 1900-х с Волги за океан, Иоганн Кейм, застрял по пути в Судаке, влюбился в девушку из местной немецкой колонии и женился на ней.

Он жил в большой семье Зеебольд, не переставая помышлять об Америке, надеялся когда-нибудь увлечь молодую жену своею мечтой.

Край, в котором он «задержался», Иоганн все же сумел оценить по достоинству. Его письма кузине, моей бабушке, неизменно подчеркивали преимущества Крыма перед его родными саратовскими просторами. Прочитав их однажды после бабушкиной смерти, я заболел Крымом.

Эдельсдорф, как его между собой называли сами жители, прилепился к стенам Генуэзской крепости с западной стороны. Крепости лет шестьсот. Поселку сто пятьдесят. Официальное название до 1941 года — Немецкая колония Судак. После войны — поселок Уютное.

Крепость хранит за своими стенами эпохи еще более далекие. До генуэзцев здесь царили готы и греки.

Немцы из Вюртемберга и Бадена нашли крепость в полном запустении. Небольшая церковь Двенадцати апостолов местными верующими, ни христианами, ни мусульманами, с тех пор как итальянцы в XVI веке покинули Судак, не использовалась. Лишь морские ветры залетали в ее голые окна. Таинственным и хмурым казался колонистам этот брошенный храм с остатками темных



фресок. Лишь немногие заходили сюда помолиться. К развалинам церкви колонисты относились благоговейно, однако ее мрачность их лютеранскому мирозерцанию была непонятной и чужой.

Устраивать жилье на территории крепости они не стали. Место для строительства домов выбрали у стены, но с наружной стороны. Могли бы расположиться ближе к Новому свету, но им показалось надежным жить у стен, выдержавших много веков и заслонявших их жилища и виноградники от восточных ветров. От северных защищали горы.

Рейнская лоза принялась на славу. Выращивали рислинговые сорта для производства шампанского в Новом Свете, они выдерживали конкуренцию с лучшими французскими. Якоб Зеебольд был у Голицына старшим виноделом. Пиво также варили, и в большом количестве, не видя в том для виноградарей ничего зазорного.

В первые советские годы большевики поставляли за границу на поддержку западным коммунистам десятки миллионов тонн зерна. У колонистов отобрали все запасы. Но они выжили, спасло Черное море, тогда еще богатое рыбой.

Страшные времена начались с 1929 года, когда экспроприировали частные земельные наделы в долине Ай-Зава и ради производства колхозного розового масла уничтожили драгоценные виноградники. Лучших трудяг сослали в Сибирь, из остальных образовали два колхоза: виноградарский и зачем-то рыболовецкий.

В 1933 году закрыли церковь. Выборный церковный староста Якоб Зеебольд от имени общины выразил городским властям Судака протест и угодил в лагерь.

В августе 1941 году немецкая история поселка закончилась, жителей, в том числе Иоганна Кейма и его семью, посадили в телячьи вагоны и увезли в Сибирь.

После войны в бывшей колонии поселились русские и украинцы. Любой народ, осев на чужом месте, устраивает свой быт по собственным представлениям. Природу земли уже давно создают сами люди. Удивительно только, насколько быстро это происходит, через одно-два десятилетия почти ничего не остается от облика прошлой жизни. Впервые я посетил Крым в середине шестидесятых. Уже тогда я не нашел в нем ничего специфически крымского, например, крымско-татарского, восточный колорит если и сохранялся, то разве что в музее Бахчисарая. Конечно, ускорил

сей процесс и высочайший приказ искоренять все напоминавшее о прежних жителях и их культуре. В немецкой колонии от прошлого остались только потомки кур и петухов. А еще темно-синие со светящимися оранжевыми потеками ирисы.

Август 1976 года мы с женой и маленькой дочкой решили провести в Уютном. Снять комнату можно было лишь по рекомендации. Нам удалось поселиться в доме, который принадлежал Иоганну Кейму. Новые хозяева о моих родственных связях с бывшим владельцем дома, конечно, не догадывались. В нашей комнатке было прохладно, пахло морем, полынью и свежими фруктами.

Уже в шесть утра через двор к летней кухне пробегала полная хозяйка тетя Варя, начинала греметь посудой, жарить сало и готовить борщ. На ее вопрос, нравится ль нам наше жилье, я ответил, что мы всем довольны, вот только жаль, нет письменного стола. Оказалось, в одной из комнат письменный стол есть, проживающий там отдыхающий скоро отчалит, и можно занять его комнату.

Вскоре я восседал за темным дубовым столом, покрытым хорошо сохранившимся зеленым сукном. Вероятней всего, сидя именно за ним, Иоганн Кейм писал письма моей бабушке. С его американскими планами ничего не вышло. Когда его жена, наконец, согласилась ехать, граница была на замке.

Я знакомился с поселком, пользуясь подробными описаниями в письмах Иоганна. Еще в 20-е и 30-е годы здесь существовала ирригационная система, построенная колонистами в конце девятнадцатого века. Напротив ворот, ведущих в крепость, был прорыт большой глубокий колодец, он собирал не только грунтовую воду, но и воду с гор, и распределял ее по выложенным шлифованным камнем придорожным каналам, своеобразным арыкам. Любая хозяйка могла брать из них, протекавших мимо каждого дома, воду для сада, поливать виноградники, поить скот. По окружающим поселок склонам спускались оросительные канавки для дождевой воды.

Теперь эта система была разрушена, каналы засорились, камни растащили. Я решительно отказывался признать в грязных уличных канавах описанные Иоганном Кеймом арыки. Профессор

Кирпичников, знаменитый ленинградский специалист по древней русской истории, наш сосед в бывшем доме Кейма, понимающе пожимал плечами:

«Увы, историкам и археологам приходится довольствоваться рудиментами».

«...Каким археологам, Анатолий Иванович, мы же не на раскопках древнего Новгорода, всего-то немногим больше тридцати лет прошло».

«...Древний Рим, мой друг, как вы знаете, пал в 476 году, а в 505 году, по свидетельству очевидцев, по нему уже бродили дикие козы».

Кирпичников помогал мне восстанавливать картину, будил мое воображение, и вскоре бывшие каналы зажурчали в моей фантазии громче реальных черноморских волн.

С конца пятидесятих годов поселок облюбовали петербургские и московские интеллигенты, в основном математики, физики, но встречались и лирики. Своего рода тайный Коктебель. Отдыхали тут и известные диссиденты-правозащитники. Складывались многолетние компании. Разговоры велись весьма вольные. Сюда приезжали не только, чтобы поплавать с аквалангом, но и пообщаться с единомышленниками.

За все лето, однако, я так и не услышал от правозащитников ни о татарах, ни о греках, ни о немцах, живших здесь когда-то, но лишенных прав и имущества и депортированных в Сибирь и Казахстан. Странно, вроде бы вполне диссидентская тема. Ведь они с таким рвением защищали разного рода «отказников», боролись за право выезда из страны, в вопросе же права возвращения на родину из сталинской ссылки целых народов были удивительно неосведомленными. Ответом на мои попытки завести разговор на эту тему и мое просветительство было равнодушное молчание.

Ни о чем, кроме как о Западе, говорить с ними было невозможно. Один из курчатовцев рассказывал, что купил недавно чешскую пластинку с записью классического концерта в исполнении какого-то чешского пианиста и Пражского оркестра. Все же они, мол, эти чехи, западные люди, у них социализм не успел так быстро разрушить индивидуальное начало, исполнение нестандартно, это вам не Светлановы, Рождественские, Кондрашины, Гауки и Мравинские с их коллективистским началом, с их бездушным технарством.

— Ну уж как раз в музыке-то, — попробовала возразить моя жена, — точнее, в сфере интерпретации классики, Советы, как нигде, преуспели, тут странным образом средства выделялись огромные и не было полного разрушения традиций, это не совсем удачный пример, а дирижеры, названные вами, — элита мирового исполнительства.

— Это вам газета «Советская культура» внушила, милочка, а также «Литературка» и прочие. Вы и не заметили, как стали их жертвой.

— У меня есть уши...

— Но у вас советские уши...

На окраине поселка на невысоком холме — заброшенное немецкое кладбище. Развалившийся забор. Оставшиеся надгробья валяются на траве, большинство расколото, на некоторых углем или краской нарисованы свастики — ежедневная рутинная акция проходящих мимо с городского пляжа отдыхающих. Среди могил бродят на длинной привязи все те же пресловутые козы, трутся о кору мощного древнего дуба, растущего здесь, может быть, с догелуэзских времен.

Немецкий турист Клаус Папис, посетивший колониственное кладбище через двадцать пять лет после меня и заставший похожую картину, пишет, что разговорился посреди могил с пожилой женщиной, хозяйкой коз. Когда она поняла, что Клаус Папис немец, то заговорила с ним по-немецки. Выговаривала слова очень медленно, словно с трудом вспоминая каждое из них. «Ну вот, — подумал он, радуясь удаче, — наконец-то могу поговорить с потомком колонистов — видимо, вернулась в родное село доживать последние годы». Он спросил, где она жила раньше и откуда знает немецкий. И когда женщина назвала три немецких слова **Leitz**, **Wetzlar** и **Lahn**, он все понял. Во время войны она работала на фирме Лейцт в городе Ветцларе на реке Лан... То ли ее угнали насильно, то ли сама завербовалась вольнонаемной, но она вспоминала о времени с 1942 до 1945 года без злобы. После 1945-го восемь лет отбывала в сталинском лагере. На прощанье женщина спела Клаусу песенку, которую немцы уже много веков поют при расставании. В ней идет речь о молодом человеке, нежно обещающем подруге, что обязательно вернется к ней, если останется жив: «**Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus, zum Städtele hinaus und du mein**

**Schatz bleibst hier».** Причем спела все строфы, которых не помнил и сам турист. Пахло чабрецом и мятой, из поселка был слышен крик петухов. Время безвозвратно катилось дальше.

Невдалеке от кладбища бывшее здание неоготической церкви с небольшой колокольней. Лютеранская кирха, построенная в 1887 г. В ней какой-то склад. Первое время после её закрытия здесь был клуб с кинотеатром. В 1974 г. здание отдали на баланс заповеднику «София Киевская», о чем повествовала ржавая табличка.

Фронтон украшен готической вязью. Два немолодых атомщика, отдыхающих тут уже не один год, но познакомившихся лишь недавно, останавливаются около входа. Один задает вопрос:

— Вы не читаете по-арабски, а то было бы интересно узнать, что написано на этой мечети?

— К сожалению, не читаю. Да, наверное, то, что на всех мечетях. Красивые буквы.

Они уходят. Надпись смотрит им вслед с мудрой стариковской печалью.

«Да будет мир этому месту. На то Божья воля».

До революции, в свои первые крымские годы, Иоганн работал в Новом Свете садовником, помогал Якобу Зеебольду. Князю Голицыну вдруг захотелось иметь в своем парке входивший тогда в моду штайнгартен, каменный сад или, по научному, альпинарий. Зебольд поручил его устройство Иоганну. У Иоганна не было опыта, только присланные из Швейцарии и Германии пособия, и он начал фантазировать, вспомнил, какие растения росли на каменистых волжских уступах и в приволжских степях, пытался отыскать их в Крыму. Его штайнгартен удивлял своей необычностью.

Работавший у Голицына петербургский архитектор Адам Дитрих, один из авторов зданий Массандровского завода, советовал Иоганну не ехать в Америку: «Вы потребны России. Украсьте ее своими штайнгартенами. Её холодное пространство нуждается в цветах и нежности». В 1942 году Иоганн Кейм умер в сибирском лагере. Дитрих погиб в 1933-ем в Ленинграде при странных обстоятельствах.

2005

**Часть III**

**ИЗ КНИГИ**

**«БАВАРСКИЙ ПОРТНОЙ»**



## Баварский портной

Мартин Краузе находился в плену четвертый год, когда его рабочую группу переместили в Ивановскую область. Пилили лес, ошкуривали стволы, бревна к трассе тащили лошаадьми волоком — на торфяной почве грузовики и тракторы малопригодны.

1946 год был суровее предыдущих. Кормили все хуже. Но рабочую норму не снижали. Каждый день кто-нибудь умирал. Рацион охранников и вольнонаемных тоже стал скуднее. Видимо, и там, по другую сторону колючей проволоки, было несладко.

Время от времени их посылали забрать провиант на железнодорожной станции Южа, за двадцать километров от лагеря. Десять человек тянули сани в сопровождении охранников с автоматами. Продукты предназначались заодно и для соседнего русского лагеря. Случалось, пленные и зэки работали на одном объекте. Их лагерная жизнь мало чем отличалась, но со своими охранники обращались бесцеремонней.

В середине марта морозы стали отступать. На родине Мартина у подножья Альп весна начиналась неожиданно и бурно, задувал влажный горячий ветер и сжигал снег.

Здесь весна продвигалась медленно. Снег на полях и в лесу таял неделями. Пахло землей и сырой корой. Всюду клочки снега, а орех уже цветет желтыми сережками, раньше листвы; зеленеют вдоль ручьев лужайки.

Когда снег сошел, сани для доставки продуктов сменила фура. По пути на станцию, проходя по высокой насыпи плотины, они видели женщин — зэчек, работавших по пояс в ледяной апрельской воде, увлажнявших и разбивавших на куски торф, чтобы забирать его потом насосом.

В самом начале мая в лагерь неожиданно нагрязнула делегация из нескольких офицеров. Пленных построили перед бараками, и высокий чин спросил через переводчика, у кого есть опыт крестьянской работы.

Сразу подняли руки лишь несколько человек. Мартин медлил. Он, хоть и вырос вдали от большого города, на земле никогда



не работал, лишь порой помогал матери в собственном саду. Не хотел блефовать, опасался разоблачения. Сосед в строю, уже вызвавшийся, прошептал, не поворачивая головы: «Мартин, смелее...» И Мартин решился.

«Крестьян» набралось около шестидесяти. Младший офицер на месте отобрал двадцать человек. Мартин попал в их число.

Пленным объявили, что их направляют в колхоз. На большую телегу водрузили котел, мешки с отрубями, зерном, картошкой, одежду, лагерные одеяла. Выдали канаты и веревки.

«Бурлацкий» опыт у них уже был. Оглобли соединили перекладиной, и десять человек, по пять с левой и правой стороны, поволокли повозку на канатах по едва просохшей дороге. Остальные шли сзади, сменяя передних, когда те уставали. Сопровождать пленных назначили всего одного охранника — фронтовика, побывавшего в Германии и знавшего несколько слов по-немецки.

Некоторые деревья уже начинали распускаться. Крохотные листочки берез блестели на солнце. Во время коротких остановок — сменяли «лошадей» — Мартин подходил к обочине, срывал с кустов набухшие почки и растирал между пальцами. Ладонь становилась липкой и пахла смолой.

Через пять часов пути, выйдя из очередного перелеска, они оказались на высоком берегу реки, петляющей между пологих лесистых холмов. «А вот и Клязьма. Теперь уж неподалеку», — неожиданно сказал охранник. Таких «неуставных» слов раньше от него не слышали.

Дорога шла берегом, и вскоре за одним из холмов показались пятиглавый собор с колокольней и первые дома деревенской улицы, ухидившей от собора под гору.

До отправки в Ивановскую область Мартин за все годы плена еще не попадал в места, куда не дошел фронт. Вначале был Смоленск, потом Минск, Брянск, Сталинград — везде руины. Он впервые оказался там, где не падали бомбы. Дома низкие, старые, крыши соломенные, но следов войны нет. Только купола церкви почему-то без крестов.

Перед церковной оградой толпились жители села, в основном, женщины. День выдался теплым, но еще по-майски ветреным, и на женщинах, обутых в бахилы с галошами, темнели жакеты и телогрейки, головы — в платках и косынках. От толпы отделился однорукий мужчина в офицерской шинели без погон; в сапогах,

левый пустой рукав заправлен в боковой карман. Хмуρο поздоровался с охранником и довольно долго молчал, с недоверчивым интересом разглядывая прибывших, но вот глаза его улыбнулись и он, словно на митинге, крикнул: «Добро пожаловать в Дмитриевское, камрады! Я тут председатель. Звать меня Кольцов Николай, по прозвищу Безрукий. Рука моя где-то там у вас в Германии валяться осталась, — сказав это, он резко хохотнул и несколько секунд помолчал. — Решили, значить, помочь колхозу?! Правильно решили, мужиков, сами видите, у нас немного. Но сѣдня вы уже потрудились, — он показал глазами на телегу. — Отдыхайте. Утром... — он позвал из толпы молодую женщину, та угрюмо подошла, смотря в землю и смущаясь, — ... утром Зина, нормировщица, скажет, чѣ делать».

Мартин мало что понял из слов председателя. Поразило слово «камрады». Так обращались друг к другу сами пленные.

Охранник на слова председателя снисходительно ухмыльнулся и объявил: «Никаких отбоев. Гнездышко будем вить». И, обращаясь к председателю, добавил: «Показывай наш скворечник!»

Председатель повел их вокруг собора, позади которого вытянулись в ряд несколько старых кирпичных монастырских строений. В одном — конюшня, в другом — кузница, в третьем — колхозный склад, в четвертом, самом вместительном, предстояло расположиться.

Нары не сооружали. Натаскали на деревянный пол соломы, сена, покрыли дерюжным тряпьем. Прикатили со склада несколько бочек, наполнили водой. Прямо во дворе сложили из битых кирпичей очаг, установили на него котел — получилось что-то вроде летней кухни. Тут же назначили и повара.

На вечерней переключке охранник без всякого на то повода объявил, что его, между прочем, Сашей зовут. После отбоя он куда-то исчез и вернулся далеко за полночь. Спал охранник в одном здании с пленными, правда, в отдельной комнате, бывшей монастырской келье.

Новая ситуация вызывала в Мартине не только удивление, но и чувство нереальности происходящего, а вместе с ним тревогу. Впервые они целыми часами оказывались без присмотра. Еду выдавал повар-земляк. И хотя новое жильѣ охранник по привычке называл «лагерем», никто на них не кричал, не подгонял. Когда они в первый день без сопровождения ходили с ведрами

к реке, чтобы залить бочки, Мартин долго смотрел на противоположный низинный берег, с которого несколько дней назад сошла талая вода и луг уже подернулся нежной светло-зеленой пеленой первых ростков травы. Луг переходил в хвойный лес, и казалось, что там, в этой бесконечной дали, ни души. Но даже в мыслях не было воспользоваться этой «свободой». И все же на сердце было неспокойно.

После утренней поверки и завтрака из деревни послышался звон, напоминавший удары колокола. Охранник построил пленных и повел на звук. У здания сельсовета на столбе висел кусок рельсы, по которому женщина в телогрейке колотила молотком.

Со всех сторон на звон рельсы стекались люди. С лопатами, тяпками, кирками. Подходили к небольшому столу, стоявшему у крыльца под открытым небом, и нормировщица Зина регистрировала пришедших.

Когда распределяли по бригадам, к Мартину вдруг обратилась девушка в сером комбинезоне, небольшого роста, круглощечкая и голубоглазая: «Я — Люба!.. Моторен машинен ферштейн?» Мартин пожал плечами: «Да не очень, чтобы...»

— А не важно. Мне помощник нужен, велели самой выбрать. Ты вот мне приглянулся, — она захохотала. — Пойдем со мной! **Komm!**

Она повела его назад к собору, и ему было так странно и опять же тревожно шагать по русской деревне рядом с местной девушкой, вставлявшей в свою веселую речь немецкие слова, по залитой весенней синью широченной улице, над которой носились ласточки и дрозды, а из труб домов вился пахучий дым.

Люба отперла двери собора, показавшиеся Мартину чересчур широкими, похожими скорее на ворота. Он перекрестился на образ Христа на фронтоне, сильно поблекший, но хорошо узнаваемый. Люба расхохоталась. Мартин ступил в помещение и на месте алтаря увидел... трактор. Под трактором зияло широкое углубление, оказавшееся ремонтной ямой. У одной стены стояли два больших мотоцикла с прицепами и лежала гора тракторных деталей. У другой расположились слесарный верстак, небольшой горн и наковальня. Люба объяснила, что это отделение колхозной МТС, она — трактористка, сама себе в мастерской хозяйка и готовит технику к севу.

Трактор был старый, колесный, образца 20-х годов, но, как уверяла Люба, еще хорошо работал. Вот только запчастей не хватает, приходится самой вытачивать, паять, сваривать.

Работая, она все время что-то щебетала и пела. Мартин подавал ей в ремонтную яму инструменты. Постепенно он стал входить в курс дела, занялся поврежденными мотоциклами.

Люба приходила на работу с двумя небольшими словариками, оставшимися еще от техникума. Мартин за три года плена тоже кое-чему научился. Его русский вызывал у Любы взрывы смеха. А у Мартина от ее немецкого щемило сердце.

Лагерный устав нарушался все чаще. Даже ритуал утренней проверки соблюдался не всегда. В соседней деревне в четырех километрах от Дмитриевского была школа. С учительницей охранник Саша завел шашни, уходил к ней на ночь и частенько опаздывал на утреннюю переключку. Видимо, совсем потерял голову. Председатель, с которым он сразу сдружился, его подстраховывал, сам забирал пленных на работу. Узнай об этом в лагере, конвоиру бы недобровать.

Как-то Мартин спросил Любу:

— А ты дома тоже в комбинезоне ходишь?

— Нет, в платье.

— А сколько у тебя платьев?

— Два.

— Всего два?

Люба надула губы.

— А зачем больше? Одно для дома, другое на танцы. Правда, они немодные. Отрезы есть, а шить некому.

— Хочешь, сошью?

— Ты?

— Достань машинку, здесь и сошью.

Он показал на верстак.

— А могу и без машинки. На руках. Тогда дольше.

— А ты что, портной?

— Да.

— Настоящий портной?

— Ну да.

— А какой — женский или мужской?

Мартин посмотрел в словарь и ответил с ударением на первом слоге:

— Любой.

Люба захохотала, запела, закружилась

— Хороша я, хороша! Помощничка приискала!

На следующий день она сообщила Мартину:

— Тебя начальник наш, Кольцов, зовет. Дело к тебе есть.

— Мой начальник — Саша, охранник.

— Саша не возражает. Они вчера вечером на пару с Кольцовым бутылъ самогонки выдули.

Дом Безрукого, бревенчатый, двухэтажный, с балконом и верандой, стоял лицом к Клязьме. Туда же выходили и окна просторной горницы. За большим столом на длинных лавках сидели председатель, какой-то офицер и несколько женщин. На офицере — расстегнутый китель с орденами, накинутый на майку.

Четыре звездочки на погонах, значит капитан. Мартин взял под козырек. Знал: это всегда производит на русских военных хорошее впечатление. Капитан, не вставая, одобрительно кивнул.

Женщины с напряженным любопытством разглядывали Мартина. Тот стоял навытяжку, высокий, худущий, в вылинявшей штопаной-перештопаной немецкой солдатской форме; пилотка на русой голове делала узкое лицо еще длиннее.

— Садись, — сказал офицер. — Есть хочешь?

Мартин еще ни разу не сидел в присутствии русского офицера. Но приказу подчинился, сел. На столе — пустые алюминиевые миски, граненые стаканы. Вопрос Мартин понял, но не знал, как на него реагировать.

— Да не спрашивайте вы его, — засмеялась Люба. — Неужто не хочет?

Появился самовар и горшок дымящейся пшенной каши. После каши подали овсяные оладьи, мед.

Мартин жадно ел, еще не понимая смысла происходящего. Подозрение возникло в нем, лишь когда заметил в углу швейную машинку с ножным управлением.

Наконец самовар и миски убраны, стол застелен полотняной скатертью, капитан подходит к большому сундуку с металлическими скобами и поднимает скрипящую крышку. Он начинает вынимать оттуда разноцветные яркие отрезки тканей и раскладывать их на столе, на диване, на лавках — и вскоре комната походит на пошивочное ателье. Тут и шелк, и крепдешин, и габар-

дин, и батист, и ситец... Затем появляются журналы, много журналов. В основном немецкие, но есть и другие, на незнакомых Мартину языках.

Капитан знает по-немецки не больше Любы, торопливо листает журналы, тычет в страницы с выкройками нарядных женских платьев. «Это я и Колька, — он показывает на председателя, — все с Дойчланда привезли. Для баб своих, фрау, швестер...»

Капитан подходит к швейной машинке и говорит: «Не надо арбайтен в МТС. Надо арбайтен на машинке Зингер. Чтобы майне фрау была вот как эта!» Снова тычет в журнал: «Так вот можешь?»

— Да, — отвечает Мартин по-русски. У женщин вздох облегчения. Все улыбаются. Капитан просит принести швейные принадлежности: нитки, наперстки, ножницы, аршин, мел, наборы иглоков. — Это тоже с Дойчланда, к машинке прилагалось.

С этого дня место работы Мартина — дом председателя. Утро начинается, как у всех, с переклички и лагерной кормежки. У Кольцова его тоже ждет еда, он знает об этом, но съедает и лагерную пайку. Лишь затем направляется к дому председателя. Там на столе горницы уже стоит большая миска каши и стакан теплого молока, только что вынутого из печи. Когда ему предлагают добавку, он не отказывается, хотя сыт, как никогда еще за все время плена. Он помнит о голодных галлюцинациях, о том, как тайно от надзирателей жевал подорожники, щавель, одуванчики, молодые почки, листья, кору деревьев, как ел ежей и лягушек.

И вот после стольких лет лагерной грязи и холода — чистая комната, в печи потрескивают дрова, на подоконниках — цветы в горшках, на кровати, отгороженной полупрозрачной ширмой, взбитые подушки и цветастое покрывало. Ситцевые занавески колышутся на окнах, на сосновом светлом полу играют солнечные лучи.

Капитан торопился ехать по новому назначению. Поэтому его жене Мартин шил первой. Она выбрала в журналах несколько фасонов. Фигура у нее стройная, но нестандартная, широкие плечи и бедра, к тому же предпочитает пышные платья со складками на талии, плечах и юбке. Мартин боится ошибиться, поэтому просит ее снять платье.

В его прошлой практике этот момент всегда был щекотливым, клиентки реагировали по-разному. Чаще всего им приходи-

лось преодолевать свое смущение. В мастерской Мартина они раздевались в отдельной комнате, куда закройщик заходил, чтобы снять мерку.

В доме Безрукого в этот час только женщины. Капитанша, словно только и ждала просьбы Мартина, тут же при всех сбрасывает платье и остается в короткой комбинации и чулках на резинках.

Такой непринужденности Мартин не ожидал. Ну да, для нее он всего лишь пленный, существо бесполое. Однако в процессе шитья капитанша еще и еще раз просит сделать новый замер. Перед этим душитя и красит губы. Платьями она довольна. Перед отъездом полупшепотом уверяет, что скоро обязательно вернется, вот только обустроит немного быт мужа на новом месте и сразу вернется. Она еще не все пошила, а отрезов у нее видимо-невидимо.

Платья для жены капитана Мартин шил целую неделю. С обновками для жены председателя, сестры капитана, полноватой и низенькой, справился гораздо быстрее. Возвращалась бывлая сноровка.

Мимо внимания женщин это не прошло. Меж собой они решили, что Мартин, получая усиленное питание, все больше набирался сил. Если лучше кормить — будет быстрее работать.

Свояченицы председателя и его жены, для которых он теперь шил, — почти все вдовы. Ободренные поведением жены капитана, они совсем не конфузились. В доме воцарилась праздничная атмосфера, и церемония замеры и примерки совершалась часто под звуки патефона.

Избежать прикосновений невозможно. Особенно при обмере объема груди, бедер, длины юбки. Близость женского тела кружила голову, возбуждала. Но одновременно усиливала чувство одиночества. Засыпая в лагере, Мартин вспоминал об этих мгновеньях и ощущал себя несчастным.

То и дело ему предлагали прервать работу, поесть. Белый и серый хлеб деревенские едят редко — свои запасы кончились, купить негде. Мяса не ели уже многие годы. Из скотины — только корова. Если её пасти, она сама себе корм найдет, на многие километры вокруг трава не кошена. Да и сеном запастись можно. А поросят кормить нечем. Дай бог себя прокормить. Но для Мартина после трех лет лагерной баланды и непропеченного хлеба

гречка, овсянка, картофельное пюре, пареная брюква, тертая редька, политая постным маслом, головки лука, а иногда даже яйца вкрутую — райская пища.

Порой ему совсем не хотелось есть. «Ешь впрок!» — приказывал он себе. Уже через неделю стала исчезать костлявость, кожа на скулах разгладилась, порозовела, плечи и руки налились.

К середине июня с разрешения охранника Мартин перестал возвращаться в лагерь к обеду и ужину. Но не потому, что решил отказаться от лагерной еды, а из-за нехватки времени. Уходил теперь на работу раньше всех и возвращался к ночи.

Однажды утром до работы он забежал к Любе в собор, чтобы снять с нее мерку. Во время недолгой процедуры она замирала от страха, что их при этом застанут, умоляла не шить ей вне очереди, еще подумают что-нибудь. Мартин обещал работать тайком.

На пике лета женщины деревни встревожились. Срок пребывания пленных в деревне ограничен. Еще два летних месяца, может быть, начало осени — и их отправят назад. У нормировщицы Зины тоже была швейная машинка, и она стала выражать недовольство: у председателя, мол, шьют только своим. И действительно, Мартин шил в основном жене председателя, ее родственникам и подругам, дальше ждали свой черед работницы сельсовета. Те, которым уже пошили, щеголяли в своих нарядах на вечерних гулянках.

И тут остальные взбунтовались. У многих были свои отрезы, лежавшие в комодах еще с довоенных времен. Минуя дом Безрукого, они стали приносить материал для шитья прямо в лагерь к Мартину и складывать в комнате охранника Саша. Жаловались на председателя. Охранник сказал Кольцову, что ему этот «базар» не нравится и что захоти он только, всякое шитье прекратится. К тому времени он уже бросил учительницу, нашел себе кралю поближе, в самом Дмитриевском. Она оказалась в стане недовольных. По приказу Саша Мартин перебрался в дом к Зине.

У Зины клиента другая, не особенно разбирающаяся в моде. Некоторые приходили со своими старыми платьями, просили перешить их по новому образцу. Что они под этим понимали, объяснить не могли. Поэтому полностью доверились вкусу Мартина, который за отсутствием выкроек сам придумывал фасоны.

Теперь охранник Саша определял, кому шить, а кто подождет. Был, например, такой случай. Рядом с деревней находился



солдатский приют с лазаретом. Один солдат лежал в лазарете больше полугода, а когда вылез, поселился в Дмитриевском и вызвал с родины жену. Саша распорядился жене солдата пошить вне очереди.

Любино платье, наконец, готово. Здесь, у Зины, можно не таться. Здесь отношения проще, без всяких там субординаций. Хотя Люба и входила в круг председательских приближенных, ей зачитывается, что она дождалась своей очереди. А ведь могла бы и вперед протиснуться. Без нее в колхозе не обойтись. Мартин сумел бы шить Любе и на глаз. Могла бы вообще не приходиться на примерку. Но Мартин уже несколько недель только и грезит об этом.

Переодевшись за ширмой, Люба выпархивает на середину комнаты. Несложный фасон, простая ткань, но что-то в этом платье отличает его от всех, сшитых Мартином до сих пор. Она, как всегда, хохочет, и Мартину на мгновение кажется, что и Люба, и машинка Зингер, и все сшитые им платья — из какого-то другого нереального мира, из сказки, снящейся ему на нарах в бараке... Он глядит на кружащуюся по комнате Любу и вдруг понимает, как беспощадно она для него недоступна.

«Ой, Любка, куда же ты в таком платье пойдешь, тебе теперь только в Иваново на демонстрацию!» — говорят женщины, и просят Мартина шить им в точности такое...

Он все больше полнел. Первое время полнота из-за роста в глаза не бросалась. А когда стала явной, привела женщин в восторг. Их несколько не смущал его округлившийся живот. Говорили: посолднел, возмужал.

И здесь, у Зины, каждая, приходя на примерку, обязательно приносила с собой что-нибудь съестное. Пока Мартин ел, женщины сидели рядом, уходили, когда убеждались, что всё съедено. Они словно соревновались, кто лучше готовит. Одна замариновала грибы. Другая приготовила рыбные котлеты. Третья принесла горячие пельмени с зайчатинной. И все внушали Мартину, что он должен больше есть, тогда, мол, успеет всех обшить до отъезда. Порой ему хотелось поговорить с ними о чем-нибудь другом, не о еде. Но слов не хватало, и в ответ он лишь молча улыбался.

И опять обед, и опять ужин. Щи, рыба, грибы, варенье. Порции становились все больше. Самовар кипел целый день. Когда чай надоедал, на стол ставили молоко или морс.

Он стал апатичней, ступал тяжело, вразвалку, даже по воскресеньям перестал ходить с товарищами на прогулку, в лес и на речку, весь день проводил на своем матрасе. Объяснял, что ему надо отлежаться, набраться сил, что много заказов, а так не хотелось бы разочаровать ни одну из женщин.

Наступил сентябрь. Светило солнце бабьего лета. А Мартин становился все мрачнее, неразговорчивей. Как-то во время обеда, отодвинув тарелку, он сказал Зине, что не может есть, что у него болят живот и особенно спина.

Он продолжал ходить на работу, но отказывался от еды и даже питья. Сидел за машинкой с толстенной багровой шейей, желтым лицом и покрасневшими глазами. По несколько раз в день его рвало. Зина поила его отварами из трав. Он пил их через силу, но и травы не помогали.

Однажды утром он не встал на утреннюю поверку.

Мартин болен! В селе началась настоящая паника. Женщины бросали работу, бежали к церкви и шумно толпились у ограды.

Председательская вертушка в Дмитриевском как назло вышла в тот день из строя. Саша, охранник, помчался на мотоцикле за четыре километра в школу, где стоял единственный на несколько деревень телефон. К вечеру приехал грузовик, и портного увезли.

Проходили дни, а Мартин всё не возвращался. К концу пребывания лагерный режим пленными с попустительства Саши практически не соблюдался. Они без всякой охраны разгуливали по селу, ходили к женщинам помогать по хозяйству. Перезнакомились с ними, когда вместе ездили на лодках косить камыш на луговой стороне.

В последние дни сентября собирали вместе картошку. Трактор к тому времени сломался, пытались применить лошадей, но мужчин было мало, а пленным лошадей и плуги не доверили. Решили собирать вручную.

Работая рядом с женщинами, каждый на своей полосе, пленные удивлялись, что на равном участке поля они тратят в два, а то и в три раза больше времени, чем женщины. Оказалось, те только срывают ботву, а собирают лишь часть картошки, остальную оставляют в земле, чтобы ночью выкопать для себя. Если не успевали до заморозков, выкапывали мерзлую, на самогон и такая годилась.

В октябре пленных вернули на лесоповал. Здесь им рассказали, что Мартин потерял сознание уже по дороге в больницу и больше в себя не пришел.

Женщины в деревне о судьбе Мартина, скорее всего, ничего не узнали. Еще долгие годы они носили сшитые им платья. В Дмитриевском до сих пор, когда обнова особенно нравится, говорят: точно Мартин пошил.

*2010*

## Ложка

(из воспоминаний военнопленного Гельмута Горна)

В декабре 1941 года призвали на первые сборы! Мама, пакуя мой рюкзак, принесла из кухни небольшую столовую ложку и сказала: «Ложки в армии алюминиевые, эта — стальная, нержавеющей, она тебе послужит».

Весной нас отправили в Крым. В степи под Евпаторией мы следили за техническим состоянием самолетов, подвешивали бомбы, заряжали пушки и пулеметы, охраняли склад боеприпасов. Рядом с нашими палатками над артезианским колодцем был сооружен деревянный навес, где мы умывались и оставляли после еды — каждый в своей нише — чистую посуду. Однажды моя ложка исчезла, я огорчился, но ничего не сказал унтер-офицеру, которому мы обязаны были сообщать о любых происшествиях. Через два дня ложка опять оказалась на месте. Похоже, мои товарищи хотели проверить, не ябеда ли я.

С тех пор я засовывал ложку в узкий длинный кармашек внизу брюк, в так называемый *кнобельбехер*. Самолеты заправлялись, забирали бомбы и улетали. Туда, где война была настоящей. Порой они не возвращались.

К осени наш полк перебросили в Германию. По дороге я заболел, в Амберг на сборный пункт меня привезли в бессознательном состоянии. Очнулся в отдельной палате, и сестра, моя сверстница, улыбаясь, сообщила, что у меня дифтерит, запоздалая детская болезнь. Мне было почти девятнадцать.

На ночном столике лежали бумажник и ложка. Ложку обнаружила в кнобельбехере сестра. Ее смена была как раз в тот день, когда меня доставили в госпиталь. А то бы не видеть мне больше ложки, ушла бы вместе с одеждой на дезинфекцию.

После дифтерита у меня началось заражение крови, и я провалялся на больничной койке целых четыре недели. В сестру, её звали Беттина, я влюбился, и, кажется, она в меня тоже, и мы сообща старались сделать все возможное, чтобы меня подольше

не выписывали, я притворством, она —преувеличением тяжести моего состояния в отчетах врачу. Но выписаться в конце концов всё же пришлось.

Открыв мой рюкзак и увидев ложку, мама просияла.

Поправлялся я медленно. Пробыл дома с декабря 1942-го до конца марта 1943-го. Весна в тот год у нас в южном Шварцвальде началась рано, и мы с братом весь март помогали родителям на хуторе. Я надеялся, что войне скоро конец, и я смогу продолжить учебу.

Но вновь — на сборы. На этот раз в Альпах во Франции. Там высоко в горах нас атаковали английские самолеты: разбомбили до основания и наши казармы, и учебно-тренировочные пункты. Я лишился всех личных вещей — всех, кроме маминной ложки.

Готовили из нас горных стрелков, а послали в Белоруссию. 13 июля под Минском мы попали в окружение. Отстав от товарищей и пробродив несколько дней по болотистому горячему лесу, я ранним вечером вышел к берегу Березины и наткнулся на партизан.

Партизаны меня избили, разоружили, сняли поясные ремни и всё, что к ним подвешено, стащили ботинки, китель, майку, носки, сорвали нательный крестик, отобрали часы, складной ножик, компас, фляжку, санитарный пакет, оставили на мне только брюки.

Я долго лежал на земле связанный, заплеванный, полумертвый. Длинного кармашка с ложкой они не заметили, в карманы брюк вообще не лазили. В одном из них находилась граната.

Пришла молодая женщина с автоматом наперевес, в красноармейском кителе, галифе и сапогах. Она говорила по-немецки. У женщины был мой бумажник, откуда она, допрашивая меня, вынимала документы и фотографии. Я лежал на земле, и ей пришлось присесть на корточки.

Ее голос, строгий и спокойный, после крикливой ругани партизан звучал как ласка. Она ушла и вскоре принесла небольшой котелок с чаем и кусок сухого хлеба. Хлеб она опускала в чай и, когда он набухал, смачивала им, как губкой, мои разбитые губы и совала мякиш мне в рот. Делала это терпеливо, пока весь хлеб не был съеден. Потом заставила выпить остаток чая.

«Повезло тебе, что не убили, пожалели, мы в плен не берем. Завтра передам тебя военной комендатуре».

Пожилой конвоир отвел меня вглубь леса на партизанскую базу. Меня посадили спиной к дереву и привязали к стволу. Я бес-

покоился только об одном — как бы не нашли гранату. Если найдут, убьют на месте: почему не отдал там, на берегу? Хотел, значит, взорвать?

Конвоира оставили охранять меня. Глаза у него были не злые, и он всем видом показывал, что сочувствует. Когда мы остались одни, я кивнул ему, показал глазами на правый карман брюк, прошептал: «Granate». Оглядевшись, он медленно засунул руку в мой карман, также медленно вытащил гранату и быстро спрятал ее под китель.

Он был доволен: теперь он тоже получил свою часть добычи. При моем пленении ему ничего не досталось.

Так, полуголый, прислонившись спиной к стволу, я провел под деревом короткую июльскую ночь. Связанный, не мог отогнать муравьев, и к утру тело и лицо вспухли от укусов.

Когда я прикасался одной ногой к другой, убеждался — ложка на месте. Чтобы завоевать еще большее расположение конвоира, я мог бы отдать и ложку. Но что-то меня остановило. Скорее всего, мысль о доме, о большом дубовом буфете, в выдвижных ящиках которого хранились кухонные полотенца, салфетки, столовые приборы. Буфет был резным, высоким. Гирлянды орнамента из вьющихся листьев, лоз, плодов и экзотических птиц парили над моей головой все детские годы, и сейчас припомнились и ожили. Мамина ложка была частью прибора, подаренного в молодости бабушкой, и потому ей особенно дорогого.

На рассвете партизанский лагерь снялся и отправился на новую стоянку. Я шел рядом с телегой, привязанный к борту. Одна из обгонявших нас машин затормозила: выскочил молодой чернявый офицер, выхватил из кобуры пистолет и завопил, показывая на меня дулом. Кроме слова «фриц», я ничего не понимал. Меня начали отцеплять от телеги. В этот момент опять появилась молодая женщина. Она, хоть и была в форме, но даже не козырнула офицеру. Они при всех кричали друг на друга и размахивали руками. Офицер со злостью засунул пистолет назад в кобуру, сел в машину и уехал.

На привале она подошла, посмотрела на мою окровавленную спину и что-то сказала сопровождавшему. Тот накинул мне на плечи какое-то тряпье.

В первом же населенном пункте меня передали комендатуре.

Допросы, ночи под открытым небом, долгий путь в плен по пять человек в шеренге. *Dawaj, dawaj!* Автомат охранника беспощадно глядит в затылок. Только бы выдержать, не упасть от усталости. Ноги болят, но страх, что пристрелят и ты останешься лежать один-одинешенек на обочине чужой дороги, сильнее усталости и боли.

Нам выдавали казенную посуду, которую после еды надо было возвращать. Постоянно был соблазн воспользоваться своей ложкой. Но я ел ей, только когда рядом не было охранников. Пронес ее через все обыски, все шмоны, проводившиеся раз в три-четыре месяца: носильные вещи шли в прожарку, нас заставляли построиться голыми, и я прятал ложку между ягодич. Сзади нас обычно не осматривали.

Конец 1947-го года застал меня в лагере под Клином. Зима была в тот год в России особенно суровой, сравнимой только с зимой 1941-42 годов, о которой мне рассказывали пленные постарше. Когда морозы внезапно ослабевали, начинался снегопад, он мог длиться целыми днями. Грузовики, возившие нас на работу на завод № 57, из-за завалов не могли проехать и нескольких километров, и нам приходилось самим расчищать себе путь. Созданные для этой цели бригады в тридцать-сорок человек ежедневно сменяли друг друга.

В новогоднюю ночь у начальства и персонала лагеря было праздничное настроение, поэтому и нам, военнопленным, позволили закончить работу раньше обычного.

Возвращаемся в барак, я сую руку в карман брюк и не нахожу ложки... На мне не мои армейские с knobельбежером, а выданные по случаю сильного мороза ватные. Уходя на работу, я не решился оставить ложку в бараке и взял ее с собой. Первое чувство — не горечь потери, а страх: как теперь без ложки? Где она? Как могла выпасть? В одной гимнастерке бегу назад к воротам. Ничего не соображая, хочу выбежать из них, вдруг слышу: «Стой! Назад!»

Остановился. Кричал постовой на вышке. Мог и не кричать, мог просто пристрелить. Никто бы не осудил. В проходной тоже забеспокоились, из неё вышел дежурный лейтенант. Я сказал, что потерял ложку, когда работал.

— Хрен с ней, другую выдадут!

Я ответил, что это моя собственная ложка.

— Снег растает, найдешь. Никуда не денется. Волки ложек не жрут.

— Господин лейтенант, разрешите, эту ложку дала мне с собой... мама.

Он ничего не ответил. Глядя куда-то мне за плечо, постоял несколько мгновений в задумчивости и ушел в домик проходной. Я видел, как он что-то объясняет охранникам, как те его слушают и тоже в ответ молчат.

Лейтенант вернулся и прокричал несколько фраз человеку на вышке. Потом сказал, что разрешает, но чтобы я поторопился.

Я побежал вдоль забора к тому месту, где, как мне казалось, мы убрали снег перед окончанием работы, и начал разгребать сугроб руками. Потом помчался туда, где мы начинали работу. Так перебегал с одного места на другое, рыл ногами и руками. Выбившись из сил, остановился и огляделся.

На тысячи километров вокруг — лес и снег. Вышки, заборы, решетки, металлические сетки. Опутанное колючкой бескрайнее ледяное пространство. И где-то посреди него — моя ложка.

Я поплелся назад и дошел до столба, на котором горел тусклый фонарь. Кажется, здесь я уже искал. Вдруг я понял, что все время кружил вокруг столба. Бессознательно надеялся, что металл ложки засверкает под светом фонаря, но поблескивали только снежинки.

Из ворот лагеря вышел охранник с овчаркой и стал делать мне знаки, чтобы я возвращался. Его ручная лампа светила на десятки метров и слепила глаза.

Когда я поравнялся с охранником, он пробурчал: «Говорил, не найдешь!» и небрежно посветил вокруг. В последней надежде я следил за направлением луча, пляшущего по темной обочине дороги, и вдруг в снегу сверкнуло. «Ложка! — закричал я, — Вон там, там!» Охранник хмуро с сочувствием посмотрел на меня и направил луч, куда я указывал. Безрезультатно. «Можно я сам?», — попросил я и стал медленно прощупывать лучом то место, где, как мне показалось, я видел сверк ложки и, действительно, вдруг вспыхнул конец ее ручки, торчащий из снега. Луч застыл на месте, и металл сиял, словно бенгальский огонь. Я выхватил ложку из сугроба и быстро засунул в карман, словно боялся, что отнимут.

У проходной лейтенант попросил: «Дай хоть взглянуть — что это за предмет такой диковинный, чтобы из-за него так убивать-



ся?» Он повертел ложку, погладил ладонью узкую рукоятку с ложбинкой и, словно оценивая глубину, погрузил большой палец в неширокое, но довольно вместительное черпало. «Десертная, — подытожил он со знанием дела. — Сейчас таких не купишь».

Через день я попал в лазарет с воспалением легких. Врач по имени Вера делала мне уколы, ставила банки. Рядом на тумбочке лежала моя ложка.

«Ага, — говорит, улыбаясь, Вера, — та самая ложка...». Она дружит с лейтенантом, и он, наверное, рассказал ей про мою панику, про мой страх, про то, как мы вместе искали ложку, наверное, хотел предстать перед ней героем: вот, мол, какой я независимый, выпустил пленного одного за колючку.

Вера принесла стакан со слабым раствором марганцовки и окунула в него ложку: «Давай-ка я этой волшебной ложкой посмотрю твое горло».

«Десертная», — сказала Вера с иронией, закончив осмотр. Оказывается, лейтенант служил до войны официантом в военном санатории и разбирался в столовых приборах.

После Веры пришел Эрнст, лагерный врач из пленных: «Нравись ты врачике, раз она тебя сульфаниламидом колет. Пленным он не полагается, а тебе уже три укола сделали»...

...А был еще один случай.

Сибирь, 1950 год, накануне возвращения домой.

Нас, группу из десяти человек, послали в лес за дровами для семей офицеров. Охранник, молодой бурят маленького роста, никогда на нас, пленный, не кричавший, велел развести костер и подкатить к огню бревно. Он молча сидел на нем, смотрел на огонь и грел руки. Порой поднимался и, понаблюдав за нашей работой, снова возвращался к огню.

Его послали следить, чтобы никто не убежал. Но побеги были редки. Мы знали о них лишь понаслышке.

А ещё он должен был нас подгонять. Но он и этого не делал. Сидел у огня, грел руки и молчал.

Грузовик привез обед. Для пленных — в одном котле, для охранника — в другом. Сидя на бревнах вокруг костра, мы ели из алюминиевых мисок. Отдельно от нас на бревне сидел охранник. В тулупе, ватных штанах и унтах. Он расстегнул тулуп и достал деревянную ложку.

За едой я заметил, что охранник то и дело косится на мою ложку. При нем я ел ею без опасений.

Закончив обед, я вычистил ложку снегом и засунул в брюки. Когда мы поднялись, чтобы продолжить работу, охранник вдруг кивнул: «Останься». Сел напротив и посмотрел мне в глаза. Я ждал. Он сидел с миской и деревянной ложкой, смотрел мне в глаза и молчал. Словно Будда, освещенный огнем костра. Порой он переводил взгляд на костер, потом снова на меня. Наконец отложил миску, засунул под тулуп деревянную ложку, выпрямил спину и, положив пятерню на автомат, который не снимал даже во время еды, сказал: «Мне нравится твой ложка».

Я знал: если охранник чего-то хочет от пленного, всегда добьется. Шансов у меня не было. Автомат наперевес, руки на автомате. Одно движение, доля секунды — и тебя нет. Я не раз видел, как гибли мои товарищи. Охранник всегда прав: предотвратил побег. Неважно, что есть свидетели, пленный — не свидетель.

«Покажи мне твой ложка!» Я достаю свою ложку. Бурят смотрит на нее долго, не отрываясь. Потом вынимает из-под тулупа деревянную ложку и протягивает мне. Я все понимаю, но говорю: «Не могу. Это мой талисман».

В его глазах никакого движения. Видимо, он не знает этого слова. Я говорю: «Мой амулет». В его взгляде ничего не меняется.

Он неотрывно смотрит в мои глаза. Я повторяю: «Не могу».

В глубине его взгляда что-то вспыхивает, но тут же потухает.

«Возьми мой ложка. Я хочу твой ложка».

Я мотаю головой: «Не могу, это подарок... мамы...»

Он все также сидит со своей деревяшкой в руке. Темное, ничего не выражающее лицо. Пауза затягивается, становясь все невыносимей. Но вот он медленно засовывает свою ложку под тулуп, сдвигает шапку со лба на затылок, глядит неподвижными глазами на огонь и говорит: «Хорошо...»

Когда я вернулся из плена, мама, разбирая вещи, увидела ложку и заплакала. Я впервые узнал, что мой младший брат Франц, призванный в самом конце войны, погиб на Западном фронте. — «И все потому, что я впопыхах забыла дать ему ложку».

## СОДЕРЖАНИЕ

### Часть I НАШИ ЗАБОРЫ

Сто первый километр.....	7
Наши заборы.....	9
Если бы не Батюшков..	11
Кота в котлеты изрубили.....	16
Сорвавшийся язык .....	24
Певичка из крепостного театра .....	28
Отец Василий .....	39
Спаситель.....	49
Первый класс .....	58
Густав.....	60
Ночная гостья.....	66
Тётя Настя.....	68
Пятидесятые. Как жили, что ели, что пили, что пели... ..	78
Гамарин.....	99
Болезнь Наума Борисовича .....	101
Золушка .....	107
Невидимка.....	119
Агроном.....	127
Недостающий бемоль .....	133
Очки Шуберта .....	136
Дед Игнатий .....	144
12 апреля 1961 года .....	152
Дырка в носке.....	154
Власенко.....	157
Не успела .....	162
Резолюция .....	172
Любовь в «мерседесе».....	173
Ранний звонок.....	176
Шумер .....	180
Почему я долго сплю.....	183
Был, в каком-то смысле, знаком лично .....	185
Тяньшаньские камни .....	193

**Часть II**  
**ИЗ КРЫМСКИХ ТЕТРАДЕЙ**

Охраняется государством .....	199
Эдельсдорф.....	201

**Часть III**  
**ИЗ КНИГИ «БАВАРСКИЙ ПОРТНОЙ»**

Баварский портной.....	209
Ложка .....	221





ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР, родился в 1944 г. в Сибири. Поэт, прозаик, переводчик, издатель. Пишет на русском и немецком. Широко представлен в русской и зарубежной периодике.

Автор нескольких сборников стихотворений. Составитель и переводчик многих известных антологий немецкоязычной поэзии на русском языке. Лауреат нескольких международных литературных премий.

Детство и юность прошли во Владимирской области и Подмосковье. С 1962 г. жил в Москве. Закончил Московский институт иностранных языков. В 1990-1992 преподавал в Литературном институте им. Горького, с 1992 по 2004 год – в университетах Австрии и Германии. Основал в Аугсбурге (Германия) издательства «Waldemar Weber Verlag» и «Verlag an der Wertach».

Рассказы, включенные в данный сборник, печатались в разные годы в журналах «День и ночь», «Дружба народов», «Знамя», «Крестьянин», «Нева» и «Новый мир».